



Анна Смородина,
Константин Смородин

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОМИНКИ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Яничего красивей за всю жизнь не видел. Кристалл, ледяной, что ли... Четкие грани, но впечатление, будто он живой, светится изнутри, сияет. Я беру, пытаюсь удержать. А руки, — Данил с удивлением и досадой растопырил свои худые пальцы, — словно из воды. Проскальзывают. Не могу взять.

Он еще больше сторбился. Пружинная кровать застонала. Сто раз Варя собиралась выбросить это скрипучие лежбище. Под кроватью хранился чемодан, набитый рукописями, — Данил всегда работал запоем. Впрочем, как и пил. Имел такое пристрастие. И жил запоем — общался или просто из окна смотрел, упиваясь каким-нибудь там верчением снежинок под фонарем.

Варя хмыкнула. А Данил пожаловался:

— Устал я. Мне нехорошо. Предчувствие гложет...

Она глянула на мужа: в семейных трусах, в майке, на продавленном матрасе, — и вечная ирония по отношению к нему отступила. Ей невыносимо стало видеть его согнутые плечи — как будто вся тягота жизни навалилась на него. Мгновенно к горлу подступили слезы: воскресла юность, легкая, полуголодная до звона, вечера, переходящие в ночи, и страстные разговоры о творчестве, более страстные, чем юношеская их, детская, невинная еще любовь.

Варя вышла из комнаты. Крутясь по хозяйству, она думала о том, что уже тогда заметно было в нем это неистовство, жажда жизни, это «одержание» стихами. Уже тогда плескались они в нем горячим пламенем, обжигая окружающих. Вот — Варю обожгли. Да, она тоже училась в том элитарном творческом писательском вузе, где по ночам (перепившись — так полагала она) неистово орали друг другу стихи и сигналы из окон в какой-то неумолимой тоске неудовлетворенности, в ужасе от того, что невозможно выразить нечто, сжигавшее душу. Но часто, слишком часто это полыхание, эти «бритвы по венам» кончались комическими эффектами и пьяными, дешевыми слезами. Она приучила себя стоять в сторо-

не и слегка посмеиваться, ведь и вправду отзывался пошлостью этот поэтический, богемный клубок страстей. И все же еще с той поры осталась в мозгу зацепочка: а вдруг это она не может постичь своим куцым, ограниченным умом — запредельное? Не дано самой — вот и не может. И не всегда же комедия, и пошлость, и абсурд. По крайней мере, трое ее сокурсников перешагнули туда — в смерть. Выжгло из жизни огнем, что горел внутри. В таком случае зачураться: «пронеси и минуй...»

Да, сама она тоже писала стихи. «Стишки», — говорил Данил. Ну и пусть. Деревенская девочка, однажды вместо заданного на дом сочинения взяла да и разразилась рифмованными строчками на полторы страницы — на радость учительницы. Сочинение было зачитано вслух — в классе, потом на торжественном открытии школьного краеведческого уголка, попало в роно, а Варю отправили на слет или смотр молодых дарований. По приезде густо начала писать еще: об окрестных рощах, а они и впрямь стоили того — в осеннем золоте, на взгорках, отражаясь макушками в пруду, касаясь белых призрачных облаков. И места, собственно говоря, были самые поэтические, русская глубинка, и в то же время — культурные, в самом центре, фигурально выражаясь, отечественной словесности, ибо совсем неподалеку, в Болдино, целых три оцены писал Пушкин. Так Варю и воспринимали — в струе этой самой простой, но и по-настоящему благородной любви к родному краю. От детской искренности брезжили в ее стихах удачные строки и слова. И вот уж вся деревня порадовалась за нее, когда замахнулась Варя на столичный творческий вуз и прошла по конкурсу.

— Давай там, поведай! — напутствовали ее земляки. — Опиши, как есть.

Она старалась, училась, писала, печалась по дому, очень много стихов и мысленно все бродила по родным местам. Руководитель и сокурсники отзывы давали благожелательные. Только слегка царапала ее интонация — несерьезная, что ли, снисходительная... А может быть, еще и сам образ ее действовал на людей. Все-таки она была по юности весьма, весьма хорошенькой.

И один Данил не соврал. «Баловство», — сказал он на обсуждении.

— Варя, — донеслось из комнаты, — а ведь это дар мой. Понимаешь? Кристалл.

— Шут с ним, — отозвалась она.

Нельзя же в самом деле всю жизнь положить на плетение словес. В конце концов, чтобы поддерживать это полыхание, он позаимствовал и ее жизнь, ее душу.

— Оставь меня, — прошептала она.

— Какое сегодня число?

— Пятнадцатое, — ответила Варя и застыла на пороге комнаты, наблюдая (в который раз) эту метаморфозу. Вот только что он сидел — сухой и сгорбленный (подумать только: они знакомы почти двадцать лет!), но вспомнил, вспомнил!

— Се-ми-нар! — выдохнул Данил по слогам и весь оживился, пробуждаясь, стряхивая с плеч метафизический груз, молодея на глазах. И твердое его, сухощавое, мужское русское лицо приобрело лукавое, победительное выражение. Возбужденный, он вскочил, нервно потирая руки, уже весь в предвкушении, в ожидании.

— Поэтическая лихорадка? — Варя саркастически сдвинула брови. — А как же предчувствия?

— Как я все это люблю, — Данил подхватил ее и закружил по комнате. — Девочка моя, белочка! Графоманочка родимая! Беги, ставь кофе!

Затормошил, зацеловал, и она, наконец, тоже засмеялась:

— А я-то думала — ты и вправду превратился в старика.

Начинался один из его любимых дней, когда в клубе (она — директор, он — руководитель литстудии) соберутся юные и постарше со своими опусами. Будут звучать и обсуждаться стихи, и помолодевший, сияющий Данил станет раздавать утешительные комплименты.

«Я их всех так люблю! Они замечательно, замечательно бездарны!» Отчего ж он тогда так нуждается в этом кипении, в этой атмосфере стеснительности и в то же время амбиций, в этих смешках, ужимках, переглядываниях юных поэтесс, в этой угрюмой зажатости едва народившихся поэтов? Может быть, потому, что в этом пародийном мире он узнает самого себя.

— Ну да... Конечно, — отвечала она, — ты один гений.

— Поэтому и мучусь с вами.

— Где ты мучишься... Наслаждаешься.

— Так и есть, любовь моя.

Вышли из подъезда. День на редкость тих. Порошит снег. И все сияет и блещет, укрытое свежим, белым покровом.

— Хорошо, — Варя с удовольствием вдохнула морозный воздух.

— Бодрит, — одобрил Данил, запахивая поплотнее пальто. — Побежали.

Они нырнули в арку, под переплетенье бетонных узоров, но их настиг крик: «Эй!» Это был дворник Андрюша, не старый еще мужик, с которым Данил любил покалякать «за жизнь». Случалось, Андрюша запивал и подолгу не являлся расчищать дорожки к подъездам и стоянку. Однако его не выгоняли — он наверстывал в другие дни, да и был безотказен, когда, конечно, не пил, не требуя дополнительного вознаграждения, что уж вовсе несовременно.

— Слышь, Петрович, — обратился он к Данилу, роясь за пазухой. — На! Должен был двадцатник, возвращаю.

Данил заулыбался, медля брать.

— Чего ты в самом деле? Мне не к спеху.

— Нет, — решительно покачал головой Андрюша, — сон я видел. Мать-покойницу, речку нашу и лодку. А лодка — будто с привязи сорвалась. Бойкается посреди реки. Ни туда, ни сюда.

Варе стало знобко и неуютно в этой отвратительной, продутой, бетонной, вычурной западне.

— Пошли, — дернула она Данила за рукав и решительно прекратила всю эту загробную галиматью, выхватив у Андрея деньги. — Очень хорошо, а то — без гроша, — и подтолкнула мужа, — вон троллейбус.

— Может, убьют или сам окочурюсь. Надо долги отдать, — бормотал сзади великовозрастный Андрюша, а Варя боялась взглянуть в жалкое, растерянное лицо Данила.

В вестибюле, холодном и неуютном, уже клубились группки молодых, одаренных. У высокого зеркала зачесывал редкие кудри, пытаясь прикрыть очевидную лысину, ученый критик-литературовед Илья Зоровой. Псевдоним, взятый в пору юности, был именно по-юношески претенциозен и в то же время простоват и отдавал советской эпохой — так ощущал и сам критик. Но фамилия Федюшкин звучала диссонансом посреди литературоведения и в этом смысле была гораздо хуже псевдонима.

— А где лыжи? — с этим вопросом Данил крепко пожал руку ученому критику.

— Представьте — несчастье. Сломал правую лыжу.

Литературовед слыл оригиналом. Жил в крепеньком, приземистом домике под мостом. Сад и огород, примыкавшие к дому, как бы съезжали в речку, протекавшую на задах. Впрочем, в домике, внутри, стояли компьютер и лазерный музыкальный центр. Нарядившись в ватник, бродя по саду, критик с докторской степенью филологии обдумывал тезисы будущих работ и любил огорошить проходящих по пешеходной дорожке моста граждан неожиданным вопросом или репликой. Ученый рассказывал, что именно так он познакомился со многими представителями творческой интеллигенции города, которые, разумеется, бывали поражены несоответствием внешнего вида и глубиной мысли таинственного собеседника и — в жажде знакомства — вступали в диалог. Однако эти спонтанные диалоги никогда не длились долго, ведь у Зоревского каждая минута была расписана: наука, творчество, лекции, спорт. Летом он, сохраняя здоровье, ездил на велосипеде. И студенты с каким-то мистическим ужасом наблюдали своего преподавателя в шортах, дающего круги по удобной асфальтовой дорожке, огибающей общежития. Даже в учреждения норвил критик заехать в шортах и буквально на колесах, оставляя драгоценную машину в предбаннике. Пиджак носил залатанный на локтях и поддернутые, короткие брючки. Одним словом, чудачества самые профессорские, не от мира сего. Однако Данил, перечтя одну за другой статьи ученого и даже его солидную книгу, никакой оригинальности и просто значительной, вольной мысли не обнаружил и сильно заподозревал, что все эти детали (вроде велосипеда и коротких брюк) тщательно обдуманы и срежиссированы и призваны прикрыть абсолютно среднюю сущность, органически не способную ни жить, ни мыслить оригинально, но почему-то считающую это необходимым.

— Данил Петрович, я писал всю ночь.

— Славно, Дима, слушаем.

Варя улетела по своим организационным делам, а небольшая, нестройная, галдящая толпа пишущих, разделяясь на несколько потоков, потянулась в аудитории. Критик уверенно шел первым. «Почему у меня такое чувство, что он меня исподтишка ненавидит?» — Данил затушил сигарету и вошел в класс после всех.

Человек двадцать сидело полукругом за сдвинутыми столами. Стоял легкий, приятный галдеж. И от того, что вот сейчас начнем и будем говорить о том, что единственное и может занимать в жизни, от того, что эти молоденькие девушки, трепеща перед квалифицированным судом, пролепечут о своей любви и страданиях (о детство! о наив!), внутри вновь плеснула юная, радостная, свободная волна, и поэт улыбнулся:

— Приступим.

Почти всех присутствующих он знал и общался подробно в литературной студии при клубе, лишь несколько лиц были ему вовсе незнакомы. Данил жаждал сюрпризов. «Пусть чувство не обманет, пусть не обманет меня!»

Крайней справа сидела девушка строгого вида, в очках, с черными, коротко стриженными волосами. Она встала и, недоверчиво оглядев присутствующих, будто усомнившись в их способности оценить ее, заявила:

— Я обожаю восточную поэзию, — она потупилась и добавила, — мои предки из Поднебесной. Я и сама почти китаянка, по мироощущению, конечно.

— Как по-китайски «любовь»? — выкрикнул хорошо знакомый всем неудавшийся предприниматель, ныне тоже стихотворец, совсем молодой парень из пригорода. «Китайка» испепелила его огненным взглядом.

— Продолжайте, — вклинился Данил, с трудом сохраняя учительское спокойствие. Ах, вот этим они и хороши — человеческие встречи. Выглянут наружу глупость или тщеславие, да так искренне — невольно залюбуешься. Хорошо жить в простоте и трактовать себя одной фразой, например: «Я — почти китайка». Данил поерзал на стуле, оглядел присутствующих, заметил Варю, проскользнувшую в дверь, и прибрал, припратал эту деталь для вечернего разговора с ней.

Из дальнейшего лепета поэтессы-«китайки» выяснилось, что, действительно, кто-то из предков в период эмиграции осел в Шанхае, что она «обожает хокку» (ей невдомек, что китайцы не любят японцев) и пишет — в подражание — трехстишия, которые тут же и зачла. Любопытно, что одна или две строки художественно блеснули: что-то про змею, которая на сентябрьском солнце переползала тропинку. Данил увлекся, комментировал воодушевленно, выстроил целый символический ряд, припомнил сказы Бажова, зацепил фольклор и декаданс. Змея — образ мудрости, с таящимся до поры, убивающим, жалающим язычком. Короче, познание и яд, мудрость и скорбь. Экклезиаст: «многие знания — многие печали». Когда он завершил в высшей степени поэтическую речь, поймал прочувствованный взор «китайки» — между ними протянулась ниточка, а Варя-то смотрит снисходительно-иронически. Да он, может быть, сознательно себя горячит и нечего так смотреть, ему нужно, необходимо забыться. Данил очнулся, когда литературовед уже приканчивал свою тираду — о восточном созерцательном методе, о том, что хокку — не только трехстишия, но и определенное количество слогов, и о том, какое влияние оказали на стихи начинающей поэтессы японские лирики (о большинстве из которых та, разумеется, слыхом не слыхала).

Данилу показалось, что вздохнула девушка с облегчением, когда чересчур ученый критик кончил. Обсуждение пошло по кругу, все высказались благожелательно, и только Зина Стасюк фыркнула по поводу китайско-японских виршей. Мысль провести экзотический поединок озарила Данила, и он предложил ей выступить. Конечно, не стихи разволновали Зину и ее маму, сидящую скромно, но прочно — как изваяние — позади, она даже раскраснелась. Ибо посягнули на имидж. Дело в том, что все лавры необычной родословной застолбила Зина, когда ребенком-вундеркиндом переступила порог литстудии, ведомая образованной мамой-инженершей. Прочие поэтессы могли писать хуже или лучше, но никогда ни одна из них не дерзала на большее своеобразие, чем Зина. Ее место в студийном пантеоне никто не оспаривал и вот — поди ж ты: китайка!..

— Шляхетный цикл, — твердо объявила повзрослевшая девочка-вундеркинд и грянула:

Все благородство и утонченность
В роду Радзивиллов вместе.
Сам Сигизмунд — безутешно-бессонный
Грустит о своей невесте...

Баллада выдалась нескончаемо длинной, зато с иллюстрациями. Пока дочь читала, мать передала по кругу рисунки присутствующей вживе и въяве «шляхетной паненки». На рисунках изображались пышные балы и в окружении невероятно аристократических, с тонкими профилями

панов — пляшущая или лукаво прикрывающая веером лицо девушка в красивых нарядах. Все эти картинки Данил уже видел, или похожие на них, как две капли воды, ему чудилось, что и строки эти он уже слышал, но, впрочем, о чем еще может писать столь утонченная пани, как не о романтической любви и беззаветном рыцаре, соединиться с которым ей мешают интриги. Он мог только догадываться, что мать-инженерша потерпела жестокое перестроечное крушение, потеряв одновременно социальный престиж, ощущение своей нужности в стране и хотя бы надежду на какие-то деньги. Отчаявшаяся женщина, дабы спасти психику, с головой унырнула в семейные предания, утащив заодно с собой и дочь, взросление которой выпало на этот трудный и беспросветный для матери период. Они обе упоенно вычерчивали родословное древо и даже — на основании сохранившихся в семье писем на польском и старых фотографий — вступили в местное дворянское общество, куда — из-за малого числа дворян — принимали и на таких шатких основаниях. Усугубил ситуацию повстречавшийся на пути этой семьи астролог, уже окончательно задуривший головы матери и дочери историей с перевоплощениями и предыдущими жизнями. Словом, поэзии здесь было мало, психологии — хоть отбавляй.

— А еще я пишу роман. Главный герой...

— Хорошо, — сказал Данил, — значит, в следующем году мы с почетом проводим вас в секцию прозы. — И покосился на Варю («надеюсь, ты аплодируешь мне в душе»).

Читали многие. Традиционно больше женщины, чем представители сильного, но инфантильного пола.

Искусствоведша Ирина, сотрудница местного музея, любительница украшений из натуральных камней и экзотических нарядов (нетипично благополучная для богемы — замужняя и детная), в мужской рубашке с черным, художественно повязанным бантом на вороте, читала нежные, розовые стишки: «любимый мой, истаяла, как свечка, люблю, как драгоценное колечко, — тебя...»

Критику она понравилась, и он долго, нудно говорил о романтизме и подверстал к Ирине вечную женскую пару Ахматову-Цветаеву. Данил чуть было не восстал, даже скинулся, но снова взглянул на Варю, отвлекся и промолчал. В ушах Ирины мерно покачивались в такт стихам крупные сердоликовые серьги (Данил знал этот камень, потому что привозил похожие из Коктебеля в подарок жене). Внезапно он вспомнил о своем сне. «Кристалл — это мой дар...» Андрюша: «Возвращаю долг, может, помру. Предчувствие». Нет, не проходит даром любовь к символическим рядам. Так и лезут в глаза, так и торчат вехами — сон, и дар, и смерть. И еще Варя, Варя! Он попытался встретиться с ней глазами: «Прости меня, нет утolenия!» Слишком поверхностна, чтобы забыться, утолить боль, эта пустая игра в слова, не имеющая отношения к тому, что изнутри терзало его. «Нет времени, — просто подумалось вдруг, — нет времени заниматься этим».

— Родился афоризм: богиня, ты стоишь на пьедестале, но сердце у тебя из стали... — Врач предпенсионного возраста тайно, но явно для всех вздыхал по романтической искусствоведше.

— А слушать мы тебя не стали, — прошипел кто-то неуважительно и прокатился слабый, задавленный смешок.

— Богиня — воплощение женственности, — пояснил врач для тупых. Он был рационалист и любил демонстрировать, как рассекает стро-

ки воображаемый скальпель, и искренне недоумевал, что зрители вместо живой поэтической ткани видят натужно скрипящие шестеренки.

Нужно было что-то говорить, и Данил говорил о Козьме Пруткове и краткости — сестре таланта, думая про себя: «Черта с два! Тоже мне родственники, сестры, братья, приживалы. Талант — одиночка, голодный волк». Он провалился в себя, и тотчас в голове закрутились образы метельной зимы, дороги в надвигающихся сумерках, ползущей тенью из-за угла — опасности; задрожала в неясных еще, отдаленных звуках какая-то музыка, подступало видение, и он затаился, боясь спугнуть первую строчку. Что-то всоставало из глубины, страшное — о смерти, и в то же время трепетала где-то на кончике мысли живая воскрешающая надежда. Данил встрепенулся, пошарил на столе ручку, но тут его нагло выдернули в реальность.

Грянули комсомольские строфы. Давным-давно, впрочем, этот молодой (к пятидесяти) человек распрощался с комсомольской юностью, да и стихи писал вроде бы уже не о подвигах классовой борьбы, однако, по сути, ничего не изменилось. Себя не переделаешь. Герои комсомольских поэтических усилий по-прежнему были как бы высечены из гранита и каменными идолами громоздились одни подле других. Автор же, как скульптор, бродил по своей захлавленной пыльной галерее с резцом, там и сям подбавляя выразительных морщин. Но вековечное изображение народной правды-матки в образах бабы Степаниды и деда Кузьмича на символической завалинке дышало такой фальшью и банальщиной, что хотелось — выражаясь пиитически — «замкнуть слух» или заткнуть рот поэту.

Бывший певец прогресса читал упоенно, передергивая плечами и подмигивая, — его мучил тик, так что постороннему наблюдателю зрелище могло показаться паясничаньем. Прислушиваясь, Данил понял, что в творчестве читающего появилось новое, как бы краеведческое направление. Автор вменил себе в обязанность перелагать, оснащая глагольными рифмами, газетные истории из раздела «криминальная хроника». Все новые и новые гранитные фигуры теснились на пьедестале, причем такие тяжеловесные морализаторские концовки подвешены были ко всякому виршу, что дух трагедии брезгливо отлетал от этих кровавых житейских драм, и обращались они в серые, запыленные камни на обочине, недостойные ни взгляда, ни чувства.

Впрочем, слушали плохо. Перебегал по аудитории смехок, говорок, мелькали улыбки, нашаривались в сумочках и карманах сигареты. Дело двигалось к перерыву. Стихоплет между тем зачитывал длинейший отрывок, посвященный эпизоду Гражданской войны. Был в их местности такой хрестоматийный в советские годы отряд во главе с женщиной-латышкой, осуществлявший продрозверстку. Прежний вариант поэмы, воспевавший мужество погибших продотрядовцев, Данил отлично знал. Теперь экспроприаторы были сметены на свалку истории, а напротив, крестьяне, расправившиеся с ними, изваяны в поэтическом граните и овеяны ореолом справедливой славы. Данил вспомнил скверик у памятника этим самым продотрядовцам: они с Варей (приткнулась сиротинкой у двери, ответила, вспыхнув, на его взгляд) любили бродить по аллеям, выстеленным щербатой плиткой, и сидеть на скамье под великолепной березой. Заросли шиповника отрезали сквер от двух пересекающихся трасс. Тихое место! О, благословенная тишина! Молчание!..

Странно... Данил и не подозревал, что ему будет в тягость все это

праздное общение, рифмованный бубнеж, ухмылки и перешептывания. Он ждал поэтического пира, а вышло... Словно завис он над бездной и ощущает себя перед лицом чего-то значительного, какой-то перемены, и все должно соответственно, торжественно умолкнуть. В душевном недомумении созерцал он происходящее — да никто ведь ни о чем и не подозревает. А Варя? Она могла бы понять. А может, это просто подступают стихи, такие, каких он еще не писал никогда? И сон, и предчувствия — всего лишь весточка заветного, приближающегося слова. А важнее слов не было ничего в его жизни. Слово было его жизнью, его поводом.

Грохочущий оратор, наконец, уполз на свое место. Обсудили его быстро, перекинувшись фразами о гражданской позиции, столь необходимой в период общественного равнодушия, стагнации и болота. Курить хотелось ужасно, но критик был некурящий. Еще бы — при такой-то заботе о здоровье! Данил уже открыл рот, чтобы объявить перерыв, но Илья Зоревой, свежий, как весенний огурчик, уткнувшись в бумаги близорукими очками, объявил: «Следующий!»

Энергично, как на пружинах, выскочил бывший коммерсант (ларечник, но прогоревший, то есть буквально — сожженный, и не единожды, конкурентами), небольшого росточка, жилистый, и от прежней жизни — щеголевато одетый. Коммерсант носил имя Кирилл («Кирюша-Киря», — приевшаяся, неизбежная шутка). Нынче Кирюша не на шутку огородничал, развернув на мизерном пригородном участке, где дневал и ночевал, целые плантации клубники и огурцов. Помыкавшись безуспешно по дикому рынку там и сям, Кирюша с жаром проклял неудачные предпринимательские авантюры и теперь жил в крайней скудости, перебиваясь случайными заработками, оправдываясь тем, что решил стать поэтом и писать «хорошие стихи». Однако ничего нельзя было поделаться с тем, что стихи выходили ужасающе плохими. Вероятно, потому, что ныне Кирюша вечно нуждался, строки его неизменно отдавали кулинарной книгой. Те, кто бывали у бывшего коммерсанта на квартире, рассказывали, что повсюду на расстеленных газетах сушится морковная и свекольная ботва или (по сезону) яблоки и грибы. Сам Кирюша коллекционировал рецепты витаминных, но предельно дешевых блюд из экологически чистых продуктов и подумывал о пчеловодстве. Скрупулезный и дотошный по натуре, весь свой жизненный опыт черпавший из «полезных» книг, Киря и к стихотворству подходил обстоятельно, как к хозяйственной отрасли.

Данил уже не раз слушал «Оду целебным травам», «Басню о пчеле и цветущем георгине», шуточный цикл «К чаю» и прочие, и слегка даже (чего, в общем-то, практически никогда не делал) позволил себе настроить одержимого на более, так сказать, рациональный жизненный путь: поближе все-таки к заработкам и следовательно — к материальной пище, надеясь, что тогда тематика поднимется от желудка к сердцу, и, разгорячась, в порыве, даже подарил книгу о стихотворном мастерстве, как бы в пику имеющимся у Кирюши многочисленным целебникам и пособиям для огородников. Раскаяться в подарке пришлось Данилу буквально на следующем занятии литстудии, и Варя ужасно насмеялась над ним за это. Но, видит Бог, он был искренен.

Благодарно блестя глазами, Кирюша сказал:

— Теория стихосложения доставила мне невыразимое удовольствие. Я поднатужился и написал венок сонетов.

— О-о! — слабый стон прокатился и затих в дальнем углу.

«Ты не ошибся с книгой», — скажет ему Варя вечером. «Варя, я последний болван», — ответит он ей.

— Ты, как роза, цвела, — зазвучала первая строка, но в этот спасительный миг распахнулась дверь.

В проем всунулась рыжая, кудлатая голова, и, не церемонясь, в комнату вступил рослый, красивый (если б не некоторая расхристанность облика) человек, разом занявший собой все свободное пространство. Он вошел, сознавая свое неоспоримое право — войти и прервать, все внимание приковав к себе с полной естественностью. Данил еще не встречал такого раскрепощенного человека. Огородник мгновенно куда-то сник, а прищелец возгласил:

— Послушайте!

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Каково, а? На вдохновенье писалось.

— Кто это? — пискнули откуда-то сзади.

— Гавриил, — значительно уронил рыжий. — А имя-то, а?

— Архаика, — выдал комсомолец.

— Неудачное подражание Пушкину, — с неожиданной злостью добавил Кирюша.

— Прелесть-то, а? Девственный наив.

Данил с безотчетным удовольствием смотрел, как он хохочет, запрокинув голову, курлыча и кудахча горлом.

— Державин, — торопливо подкасал аудитории критик.

— Точно: Гаврила Романович, — молвил, просмеявшись, рыжий.

«Так весь я не умру!» — сказало у Данила в душе, и точно свалилась тяжесть — вот оно, сокровенное, искомое слово, бродившее в глубине. Что с того, что оно сказано прежде, другим?

Варя, сидевшая у двери, с облегчением увидела, как тучка, покрывавшая чело мужа, отлетела. И лицо его приняло счастливое, мальчишеское выражение. Так бывало всегда, когда он ухватывал словом то, что долго искал. И потом эта находка, обкатанная, заласканная, освещала не один день.

— Вслушайтесь, пииты! — сольный номер прищельца продолжался, смяв семинар: — Гаврила Державин. Державин — и мощь, и простор. Гаврик Уездин — это я, — он сурово раскланялся. — Уездин, да к тому же Гаврик, насмешка судьбы. У того, значит, держава у ног распростерлась, а мне, выходит, уездом довольствоваться? Ненавижу рамки.

Рыжий стукнул кулаком по столу и скорчил свирепую гримасу, так, что сидящая напротив «китайнка» отшатнулась, но Гаврик тотчас расплылся в обаятельнейшей улыбке:

— Люблю слабый пол. Милое дитя!

— Пушкин сказал: «Уж не пародия ли он?», — не в силах сдерживаться, блаженно улыбнулся Данил — день принес радость, и от этого нового человека шло исцеление.

— Всей жизнью пытаюсь разгадать, — рыжий уперся в стол и зелеными глазами уставился на Данила, — давайте знакомиться.

Все присутствующие как бы скрылись, ушли за кадр, даже Варя. Он нужен был ему, этот странный человек, во всем отличный от него. И воп-

рос стоял иначе, чем всегда. Не *как* жить (Варя вечно вымогала, чтобы они держались приличной парой и не резали глаза окружающим), а как *выжить*, выжить в борьбе с самим собой.

— Тогда перерыв! — объявил Данил, вытягивая из кармана пачку сигарет и пожимая крепкую, явно рабочую руку пришельца.

Варю сдуло куда-то по административным нуждишкам. Выходя, Данил слышал краем уха, как Илья Зоревой толковал о пользе лыжных прогулок и заманивал симпатичную Ирину на лыжню. Огородник и «китайка» уже курили, и Кирюша страстно повествовал: «на морковный фарш выливаем сырое яйцо, защищаем края», — и физиономия его, обращенная к поэтессе, имела самое что ни на есть плотоядное выражение.

Данил на секунду задержался на лестничном пролете, колеблясь — не сказать ли Варю — но что, как и зачем. Он и сам знал, что невозможно уйти сейчас, посреди семинара, в конце концов — это его работа, все это он прекрасно знал. Снизу, в вестибюле, уже в куртке, поджидал рыжий Гарик, и с легкой душой Данил сбежал по ступеням.

* * *

«Гарик! Откуда ты взялся на мою голову? Не человек, а пародия. А был ли Гарик? Был, был, и Данила с собой прихватил». Варя сидела на месте мужа в качестве законного заместителя. А что? Образование позволяет, и членство в Союзе наличествует. И вообще, когда рядом такой аслитературовед, как Илья Зоревой, можно ни о чем не беспокоиться, лишь изредка вставляя весомое словцо. Ни о чем не беспокоиться. А о чем? О чем? Разве о том, что опять он исчез с семейного горизонта, влипнув, как муха в клей, в чужого, постороннего человека? Ну, ей-то не привыкать. Он и в отношениях с людьми срывался вечно безоглядно, раскрывался нутром, упоенно постигая незнакомую личность. С этим ничего нельзя было поделать. И Варя старалась не углубляться в интеллигентский анализ, крепкая, деревенская закваска давала себя знать. «Варька, тебе ведь все нипочем!» — смеялся Данил. И сама она привыкла верить в это, вот, оказывается, сколько жизненной энергии дали ей родимые поля.

— Стихи про весну, — объявила старушка в ситцевом платье и шерстяной кофте поверх, — у меня про все времена года есть.

— Ограничимся весной, — заторопился критик, — все-таки самое поэтическое время.

— Не скажите, а осень?

Старушка, вероятно, отменно выспалась и получала удовольствие от того, что может дискутировать и занимать внимание таких важных в местной литературе людей, и они вынуждены отвечать ей на полном серьезе, и не будут, как родные дети, досадливо отмахиваться. Вот от этих-то жизненных штучек, узелков и заворотов и имел наслаждение Данил, и не раз говорил Варю об этом. Оттого, что и графоманы были как бы причастны к поэзии, топтались у порога, заглядывали в окна, но, не зная тайны и не имея ключа, не могли войти. А он дивился на них изнутри, осознавая себя посвященным. Варя даже изумилась, что мысль предстала четко: и не словами, а образом.

— Я уж тогда и про лето, чтоб был полный цикл, — тарабанила свое старушка.

Да, сегодня был особенный день. И это облачко на челе Данила, и

дворник Андрюша со своим сном, кристалл-дар («не могу взять! не могу удержать, Варя!»). Она готова была простить Гарику похищение мужа, лишь бы печаль его, прочно севшая на крючок где-то в глуби души, отошла. Ведь сама она не умела ему помочь. Впервые не спасала ее бесхитростная улыбка, все было серьезней, но это понималось не умом, а сердцем.

Был еще один перерыв. Руководителей завели в тесную каморку и предложили по чарке. Варя не отказалась, и струна, натянутая внутри, чуть ослабла.

— Не могу, не могу, веришь, Варюша? — страдал со стопариком в руке бесшумный ведущий семинара прозы Витя Колымасов. — Достал!

Речь шла о бывшем банковском работнике, ныне — писателе. Выйдя на пенсию, служитель маммоны принялся строчить поучительные исторички для детей, оснащая их собственными рисунками. Имея связи в финансовых кругах, издал одну за другой семь книжонок, намеревался вступить в Союз, с писателями фамильяричал и охотно ходил на встречи с читателями. Чем дальше, тем труднее было не считаться с ним.

— У него книг будет скоро больше, чем у меня. Представь, Варя, картинку: ребенок с дегенеративно раздутой головой лезет под кран, из которого течет вода. А сбоку автор для ясности подписывает: «гыр-гыр-гыр!» То ли кран ревет, то ли дебил-ребенок. Я не могу, честное слово. Коньяк поставлю тому, кто избавит меня от финансиста!

— Давайте его в Союз художников порекомендуем!

Время шло, катилось. Потемнело за окнами.

— Где Данил? — спросил кто-то Варю.

— Отбыл, — ответила она в рифму и засмеялась, хотя заплакать было бы естественней.

Начался заключительный этап семинара, и тут Варю кликнули к телефону.

— Там кровь, кровь на потолке! — орала в трубку Рая, соседка снизу, — приезжай немедленно, или я вызываю милицию.

Город на мгновение обступил, уставился зажженными окнами, светфорами, завизжал тормозами, кинул вслед обрывок фразы и смех и отступил, скрылся, потеряв всякий интерес к женщине в немодном пальтеце, бегущей по заснеженной улице к остановке. Ибо она не видела ничего: ни домов, ни людей. И как ни странно — ни единой мысли не было в голове, Варя вовсе не старалась проанализировать ситуацию и представить худшее (представьте худшее — так учат психоаналитики, дескать, действительность окажется неизбежно лучше). Парадокс в том, что порой жизнь подложит *такое* худшее, чего ты и вообразить не сумеешь, и вся твоя круговая оборона не будет стоять ломаного гроша. Но сейчас чувство выжгло, испепелило усталый мозг, и только за пределами рассудка, в воображении, маячило кровавое пятно на штукатурке, а что там, этажом выше, и воображаться не желало.

К остановке подкатил шикарный белый финский автобус, освещенный синеватым светом. Войти в такой автобус всегда было по-особому приятно — достигла чего-то бывшая деревенская жительница. Достигла! Двухкомнатной хрущобы на окраине и мужа-поэта, который или сам кого-то убил, или его убили. «Вот горе! — едва не заголосила она, — вот тебе и дар. Да зачем все это было нужно?» Она тряслась минут сорок в полупустом салоне, выскочила на своей остановке, миновала чипок-пив-

ную, но тут заметила дворника Андрея, уже изрядно налившегося и прикидывавшего с двумя собутыльниками, где надыбать недостающую до окончательного беспамьятства пол-литру.

Варя почувствовала острый укол в сердце: ненависть к Андрею за то, что он так прозаически жив и традиционно пьян. Ведь это ему приснился сон о смерти!..

Возвратившись на пару шагов, она сделала вид, что только что заметила дворника, кивнула ему, как бы приветствуя, и в то же время — вопрошая. Продравшись сквозь алкогольный туман и рукой отодвинув одного из хмельных собратьев, Андриюша внятно сказал:

— Я рассчитался сполна, — переполненный, он икнул, а Варя в ужасе отшатнулась.

Вступив в обшарпанный, ободранный подъезд, она взлетела на второй этаж. Рая караулила у двери.

— Смотри!

На потолке в комнате, в самом углу проступило явственное, небольшое, рыжеватое-бурое пятно. Ноги не держали Варю.

— Я боюсь, — выдохнула она.

— Давай, пошли, — сказала решительная Рая, — еще и шум был, понимаешь? Возня. Я-то не прислушивалась вначале.

Затаив дыхание, они поднялись на третий. Варя вставила ключ в замок, и женщины очутились в полутемной прихожей. На полу в беспорядке валялись содранные с вешалки демисезонное пальто Вари и старая куртка Данила. Острый запах спирта, ацетона и еще какой-то химической дряни витал в квартире.

Варя заглянула в комнату, и сердце отпустило. По крайней мере, труп отсутствует. Он был жив, вернее, живы были оба, потому что оба побывали здесь.

— Что это такое? — спросила Рая, недоуменно разглядывая сооружение из трех табуреток и гигантскую лужу масляной половой краски. Тут же валялась разбитая бутылка водки и раздавленный тюбик с алой гуашью, вся эта маслянисто-спиртовая жидкость протекла под загнутый край линолеума. На верхней табуретке торчала покосившаяся фанерка, на которой изображено было довольно правильное анатомическое сердце, а все свободное поле вокруг усеивали отпечатки пальцев и кривые линии.

— Я забыла, — Варя присела на краешек дивана, — что он — художник.

Да, точно! Сразу после исчезновения Гарика и Данила обнаружилось, что Гарик вовсе не такой уж незнакомец, он — художник, причем хорошо раскупаемый, но какой-то чудаковатый, сдвинутый, живет как бы на обочине, время от времени делая вылазки и будоража художественных соратников богемными выходками, о которых повествовали, сладко закатывая очи в притворном осуждении.

— Они развлекались. Рисовали, — пояснила Варя соседке.

— Ну, знаешь, — по мере того как происшествие принимало вид самой обыденной пьянки, миролюбие соседки испарялось, только смерть примирила бы ее с пятном на потолке. — Я буквально только что ремонт...

— Рая, я тебе все оплачу и мастеров найму, но теперь — уйди, ради Бога, — вытолкала она за дверь кипящую Раису.

Кое-как убрала потеки на полу и плитусе, вынесла мусор и прилегла. Можно было не ждать. Сегодня он не явится домой, опасаясь ее спра-

ведливого гнева. А если придет — значит, напившийся до одури. Нет, лучше надеяться, что не придет.

В поредевшей тьме глаза ясно различали очертания предметов. Все детали и наблюдения минувшего дня пропадали втуне, оседали ненужной, нехудожественной пылью. Сбросить с себя усталость и почувствовать его искренность! И еще — прижаться к нему, и чтобы не было так пусто в этом мире. Она закрыла глаза и увидела его обращенное к ней, потерянное, жалкое лицо. Но на жалость у нее не было сил, и она спросила его: «А какой он, этот кристалл?» Облик Данила преобразился, в приливе радости все заместилось сиянием небывалого счастья, и, примиренная с миром, она заснула.

* * *

Данил очнулся в бане, в клубах пара, обнаружив ноги в тазу с горячей водой. Он с трудом вспомнил, что они находятся в какой-то «берлоге» Гарика, где «можно отлежаться и жить дальше». Гарик действительно отлежался на полотах, лениво помахивая веником. Данил попытался восстановить в памяти прошедшие дни. События мешались в голове, как цветные осколки в детском калейдоскопе. Вернее, начало их с Гариком похождения он помнил прекрасно: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...» Гарик Уездин — пародия на Гавриила Державина. Остроумно. И в то же время — шутка двойная: Державин представляется маленьким, тщедушным (наверно, из-за описания явления старика перед очами Пушкина в лице), а Уездин огромный, мощный. Они хотели разрисовать стену на кухне, по масляной краске должно было получиться что-то детское, детсадовское, но под рукой оказались только половая эмаль и гуашь. Случайно разлили бутылку водки, пошли к кому-то за красками и понеслось: мастерские художников, бывшие жены, кафе-забегаловки...

Гарик поддал пару, сунул ему веник в руки, велел забираться повыше и активно греться, а сам отправился не то в предбанник, не то на улицу. Данил залез на верхнюю полку и начал хлестать себя по спине, заодно припоминая, что, кажется, совсем недавно они обретались под крышей многоэтажки, в мастерской, одна из стен которой была сплошным окном. «Бывшая моя, — похвастался Гарик, — обменялся на нечто сногшибательное». В просторной комнате собралась компания: несколько бородатых мужчин и женщины среди зимы почему-то в летних сарафанах. Стены, за исключением стеклянной, увешаны картинами с церковками, купеческими домиками, перелесками — впечатления хозяина от поездки в Суздаль. «Мазня», — шепнул ему на ухо Гарик. Во всех компаниях (а это была пятая или десятая) он хохмил, рассказывал анекдоты, подтрунивал над присутствующими и только к Данилу относился с явным почтением, расспрашивал о поэзии и сам проявлял недюжинные знания в ней, особенно периода Серебряного века. Но это случилось между визитами, а в той квартире-мастерской что-то произошло. Ну да, Гарик поспорил с хозяином, что съест курицу, положенную ему на грудь, и не прикоснется к ней руками. Тут же была принесена курица, спорщик улегся на диван и через пять минут от птицы, предназначавшейся всем, остался почти голый скелетик. Нужно было видеть лицо проигравшего...

Художник в тулупе ввалился в парную и больно схватил Данила за локоть:

— Пошли скорей, а то я замерзну!

Данил не успел опомниться, как уже бежал в жалкой шубенке по тропке среди сугробов. Ночь выдалась ясная, морозная. Окрестности видны почти как днем, а на небе сияла щербатая луна и светили звезды. Они летели среди снежных просторов куда-то под уклон к смутно прорисовывающимся кустам и деревьям. «Как далеко», — успел подумать Данил, чувствуя, что морозные иглы впиваются в голые распаренные ступни.

— Э-ге-гей! — неожиданно заорал чуть приотставший Гарик и ловко сорвал с поэта куцую шубейку, а затем, когда Данил попытался повернуться к нему и что-то возразить, бесцеремонно и сильно толкнул в плечо.

Дальнейшее Данил мог представить только в страшном сне: он плюхнулся не в сугроб, как ожидал, а в темный квадрат проруби-полыньи, с радостным чмоком принявшей его. Тьма на мгновение обступила со всех сторон, и когда голова оказалась на поверхности, крик ужаса вырвался из стиснутых водой легких.

— Посторонись! — рядом в фонтан брызг погрузился художник.

Обнаружив под ногами дно, Данил немного успокоился, а когда он понял, что в воде теплей, чем снаружи, желание убить шутника пропало.

— Лучшее средство для отрезвления, — смеялся и фыркал рядом Гарик, призывая Данила активней двигаться в воде.

— Все-таки ты бессовестный, — счел нужным урезонить нового друга Данил. — Так ведь и помереть недолго.

— Иди в баню, — отшутился Гарик. — Однако нам обоим пора, — добавил он и полез из проруби. — Не Крещение, переохладись — Бог не помилует. — Огромная рука тянула Данила за волосы на ледяной берег.

— Ты что, очумел?! — взвыл поэт.

— Ну вот, очухался, а то мычал уже вместо беседы.

Назад они вновь бежали по еле заметной свежепротоптанной тропинке. Гарик попутно инструктировал:

— В этом деле главное не перебрать... Завтра у меня будешь как новенький.

Вскоре они сидели на верхнем полке и хлестали друг друга по очереди веником, затем — в предбаннике — пили из банки холодный сладкий чай.

— Ты — хлюпик, — с сожалением констатировал Гарик, глядя на поэта. — Тебе сейчас пива налить — развезет. Из-за тебя мучаюсь.

— Зачем такие жертвы?

— Ради искусства, брат. И потом, ты меня напугал. А я и пиво приготовил.

— Неси, балда!

— Погоди, я с тобой один серьезный вопрос обсудить хочу. Ты видел, какой сегодня вечер, звезды на небе? Как ты думаешь, там есть кто-нибудь или нет ни хрена?

Данил съежился, в шубейке на голое тело и в валенках на босу ногу он выглядел худым серьезным подростком.

— Думаю — есть.

— Давай договоримся так, — насупился Гарик, — если ты, как хлюпик, раньше коньки отбросишь, ты мне об этой тайне знаешь. Как посвященный. Посигнализируешь оттуда. Качнешь крылом. Если наоборот — я тебе. Взаимно, так сказать. Понял?

— Заметано. Давай неси пиво, обмоем наш уговор.

Гарик вытащил из-под скамейки две алюминиевых баночки:

— Если до неба далеко, то за пивом — только протяни руку.

— А до неба — протяни ноги!

И они весело рассмеялись.

* * *

Здоровье не позволяло Данилу ударяться в долгие загулы. Это раньше, в молодости, он, словно подхваченный некой стихией, вихрем, мог унести и на неделю, и на две — легко знакомился и сходил с людьми, умел выскользнуть из трудного положения и каким-то внутренним чутьем знал, где остановиться, затушить пьяное веселье. Боже мой, что довелось пережить Варя. Но в последние годы загулы утихли, стоило ему перепить — не медлила тяжелая расплата: адские боли и мрачнейшая похмельная депрессия. Когда-то она пыталась ставить ультиматум: или я, или водка. Теперь ультиматумы не требовались. Во всяком случае — до этой поры.

Прошло три дня. Варя ждала, наливаясь раздражением и тревогой. На четвертый, выяснив адрес Гарика Уездина, она отправилась на квартиру. Крохотная интеллигентная старушка — мать Гарика — посочувствовала и дала более точные координаты пребывания гуляки-художника.

Через час Варя добралась на самую окраину города. Автобус делал разворот на пяточке, с одной стороны упиравшемся в металлический забор местной школы, с другой стороны — в каменный одноэтажный магазин «Продукты». Типичный деревенский центр, только сельсовета не хватает. И улицы здесь почти деревенские, утопающие в снегу, с рыжими пятнами от помоев в сугробах, расчищенными тротуарами и ледяными горками для детей. По улицам бегали собаки, свирепые на вид и вполне миролюбивые. Варя не боялась собак, она как всякая селянка умела ладить с животными. И все же здесь был город. Отличие от деревни, впрочем, не столь уж разительное: пожалуй, дома стоят слишком тесно, и побогаче они, покрепче. Нужная улица оказалась самой дальней, последней, и она больше всех походила на деревенскую, потому что за крышами и голыми садами виднелись безбрежные белые просторы, только кой-где изредка пунктиром торчали верхушки деревьев.

Вот и нужный номер. Варя увидела козырек крыльца во дворе и рядом — старую пушистую елку. Глухой забор скрывал все остальное, а именно — тех, кто там находился, потому что ей показалось, что она слышит голоса. Из дома доносилась музыка, а во дворе действительно разговаривали. Через секунду Варя сунулась в калитку, и ей предстал взломаченный широколицый Гарик в драном овчинном полушубке и Данил в своей жалкой шубенке и съехавшей набок шапке. В глазах Гарика мелькнул интерес, по мере узнавания — пропадающий:

— Инспекция или в гости?

— Я так, проведать, — залепетала Варя, заметив, что Данил смотрит отчужденно. И только что вспыхнувшая было радость — жив, здоров! — сменилась тяжестью на душе, ей стало нехорошо, хотя э т о уже было, было много раз, и она принимала как неизбежное, но тут сердце почувствовало что-то серьезное.

— Пустим? — спросил Гарик.

— Пусть проходит, — с кривой улыбкой смиловился поэт. — Законная жена — не рукавица. Тоже не чужда искусства, может, что умное скажет.

И они забыли о ней.

— Ты говоришь: форма, форма! — завопил Гарик во всю мощную глотку. — По-моему, форма — фикция! Мыльный пузырь! — горячился он. — Радужный мыльный пузырь. Я сам есть форма. То есть — пузырь! Понимаешь? Хоть лопну.

Варе очень хотелось вмешаться и сказать: лопнете, от водки лопнете, — и все-таки благородным образом взяло верх — промолчала.

— Хоть лопну, зато весь спектр отражу. А ты говоришь: форма и содержание, кровь и мозг, маска прирастает к лицу! Тыфу! Банальщина! Нечего заниматься самокопанием, это сродни самоедству, а я от самоедства отказываюсь! Спиной поворачиваюсь. Хрен с ним, с даром. Я бы с ним сразу повесился. Ведь за него — тыфу! — надо отвечать! Хочу быть активным бездарным, не хочу лопать себя.

— Будем лопать пустоту, — поддакнул с ехидцей Данил.

— А что, идея. Молодец Хлебников!.. И никаких там разговоров о непризнанности гения. Меня и так все признают. А почему? Смотри! — художник сорвал шапку с Данила и водрузил ее на одну из елочных ветвей. — Видишь? Нарисуй я, так и все — эпатаж! Аллегория! Зритель задумываться начнет. На кой ему это надо?

Варя схватила шапку и попыталась натянуть ее мужу на голову, тот довольно грубо отмахнулся: не мешай, видишь, мировую проблему решаем. Шапка упала на снег, под ноги. Гарик, крикнув, поднял и нахлобучил ее Данилу почти по глаза.

— А я что делаю? — опять взревел художник. — На эту елочку не чужеродную шапку, а уютные новогодние свечки, чтоб лубок вышел. И душе, и сердцу отрадней. И зритель меня любит — как равного, такого же убогого, как он сам, бездарного. Просекаешь?

— Приспособленец!

— И заметь — сознательно. Все делаю сознательно. Выбирай форму с нулевым содержанием и преуспеешь.

— А я этого боюсь, Гарик... Книги сейчас все блестящие, одинаковые, как будто их компьютер писал. Блестяще, но — мертво.

— Тью! — присвистнул художник. — Люблю! Борьба добра со злом в иных мирах! — И он набросился на Данила, они покатались по затоптанной дорожке, шутливо мутузя друг друга.

Варя невольно улыбнулась: глупые дети и только. Если бы еще не алкогольно-табачные пары, витавшие вокруг них.

— Сдаюсь, сдаюсь! — выкрикнул Данил.

— Зло победило, — заявил Гарик и принялся отряхивать поэта.

— Почему ты решил присвоить себе образ зла?

— Не образ, а образину!.. И вообще — зла больше, и я покрупней, чем ты!

— Если б ты предупредил, я б дрался активней.

— Зло коварно. Еще тебе скажу, — Гарик посуровел. — Бойся реализма. Тоже, знаешь, мысли навеивает. Не те... Живи полной грудью, без опаски. Радуйся жизни. Вот женщина тебя ждет — завидую!

Данил оглянулся на Варю и — снова — скользнул взглядом как по чужой, отвернулся равнодушно.

— Портрет буду рисовать, — неожиданно заявил Гарик, — дозрел, —

и мужчины отправились в дом, не приглашая Варю с собой. Впрочем, и замок не щелкнул, и крючок не звякнул, словом — поступай, как хочешь.

Варя смотрела на заросший сад, застывшие в сверкающем инее, словно коралловые, яблони и вишни, ржавые прутья малины, торчащие чересчур густо, огромный, разросшийся, наверное, одичавший, белоснежный куст смородины. В глубине сада виднелась банька, а за ней пространство как будто обрывалось, вернее — прерывалось, и через какой-то промежуток начиналось вновь — мутновато-белое поле, смыкающееся вдали с таким же небом. До чего же все родное и грустное!.. Так хочется плакать.

Варя вышла на улицу, постаравшись не хлопнуть калиткой.

* * *

Вернулся Данил через пять дней. Ранним утром Варя услышала скрежетание в замочной скважине. Словно пружина выметнула ее из постели.

В прихожую он всунулся как-то боком, стыдясь себя, помятого и грязного. Алкогольный дух облаком стоял над ним. Но Варя, готовая разразиться заранее припасенным градом упреков, почему-то осеклась и смолчала. Как был — в искомственной шубе, в ботинках — он прошел в комнату и упал на диван.

Сейчас заснеженная, промерзшая одежда, сваленная горой на пол, оплывала грязной сыростью. Варя собрала ее и отнесла в ванную. Какая-то глубокая, трагическая перемена совершилась в ее муже, и она, Варя, бессильна была изменить что-либо и просто присутствовала в качестве зрительницы. Данил, терзаемый похмельем, в семейных трусах и майке сидел на диване, в лице его что-то дергалось, металось, глаза глядели беспокойно, будто пыталась душа его зацепиться за реальность, но все соскакивал, соскакивал крючочек, все не мог Данил вступить в разворачивающийся день, будто нога соскальзывала с подножки вагона. Все это ясно представилось Варя, и жутко ей было глядеть на этого человека, ее мужа, запутавшегося в невидимых тенетах и перечеркнутого жизнью.

— Знаешь, Варя, — вдруг сказал он, — однажды я с Обрубиным (это был их приятель по институту) сидел в скверике у общаги. Осень. И все, знаешь, так зыбилось и дрожало на ветру... Одним словом, поэзия увядания. Я наслаждался. Тут мы увидели, как по аллейке идет Рубцов, тоже с товарищем. И мне ужасно захотелось сказать ему что-нибудь. Не столько о его стихах, а чтоб он меня заметил. Что вот я тоже на свете есть, существую. Я вскочил и начал: «Ваши стихи...» Он покосился на знакомого и грустно так резюмировал: «Дожили, молодежь уже на “вы” называет...» И дальше пошли, по аллее. А я испугался, истуканом стою — не хотел ведь обидеть, а задел. Варя, мне ведь самому сорок девять, а?..

Варя пожала плечами:

— При чем здесь ты?

— Ты меня, Варвара, прости и дай мне бутылку. Я знаю — у тебя есть.

Она присела рядом, опасливо дотронулась рукой до плеча, словно прикоснулась к потухшему вулкану, и зрелище застывшей лавы помертвевшей души тяжелым камнем упало в ее собственную душу.

— Не помогло? — спросила она, а слезы сами собой потекли по щекам.

— Нет, — он качнул головой, — нет.

— Хочешь, поедem в деревню? Поселимся у тетки, она бобылкой живет. Хочешь, один поживешь? Скоро весна, можно будет бродить.

Ей показалось, что Данил слушает жадно, с надеждой.

— Так и сделаем, — она вновь обрела твердость, такой уж удел — все вынести, выстоять в жизненной борьбе и мужа вывести, если дорог. А он дорог ей. — Писать будешь. Только, чур, мне посвящение сделаешь. Договорились?

— О чем ты, Варя? — он засмеялся дребезжащим смешком. — Кого спасают стихи? Я не хочу больше писать и не буду. Исписался. Не тому дано было. Ошиблись адресом в небесной канцелярии. А теперь вот извещение выдали, сон послали — дар-то отбирается.

Варя рассвирепела:

— Да хватит себя жалеть. Что? Те, которые без стихов, вообще жить недостойны?

— Я недостоин, Варя.

— А ты забудь, понял? О стихах, о снах — забудь, иначе пол-литру не увидишь.

— Сдаюсь, — муж дурашливо воздел руки к небесам.

— Выпей и спи.

Варя оставила ему бутылку и осторожно прикрыла дверь. Собираясь на работу, она слышала звяканье стакана, а потом бормотанье Данила, ворчанье, крихтенье. Что-то он бормотал, бубнил, устраиваясь на продавленном ложе, но когда она заглянула к мужу перед уходом, он уже спал, зарывшись лицом в подушки.

* * *

Вернулась Варя уже в сумерки. В квартире было совсем темно и тихо. Вечер, как вода, заливал синевой стекла. Сначала она двигалась осторожно, боясь разбудить мужа. Початая бутылка стояла на столе. Внезапно до нее дошло, что она не слышит никакого живого шевеления, вздоха, стоны, всхрапа с дивана. Она щелкнула выключателем и сдернула одеяло, собственное ее дыхание пресеклось, и она безуспешно пыталась проглотить воздух, вставший в горле. Синие ногти на его ногах приковали взгляд, и ничего более бесстыдно, более откровенно говорившего о гибели и распаде не существовало в природе. На этом самом моменте смерть нагло вторглась в их жизнь и по-хозяйски расположилась под низким потолком.

Фигура мужа была скрюченной, жалкой, застывшей, хотя одеяло сохраняло тепло. Опомнилась Варя на пронзительной ноте своего ужасного крика и от стука соседей в дверь и по батареям.

Приехавшая «скорая» констатировала смерть от сердечного приступа. Молодой врач так и сказал:

— Сердце, усугубленное алкоголем.

— Он еще теплый, — возразила Варя доктору, — спасите его!

— Что вы, голубушка, ведь это конец.

Но это был еще не конец, не вовсе смерть, потому что она-то еще существовала, плыла в этом мире, претворяя в действительность похороны и поминки, но и жизнью назвать это было нельзя. Какая же это жизнь, за краем, если остановилось сердце?

«Зачем?» — спрашивалось внутри. «Так надо, воля Божья», — говорили окружающие. Постоянно слыша эти слова, Варя привыкла к ним, утверждаясь в этой мысли: «Так надо!» Но кому и главное — зачем, ответить было невозможно. Потому что, как поясняли опытные люди, когда превозможешь страдание и боль, то вроде бы — есть смысл, но пока тер-

пишь, в процессе, боль все равно не даст разглядеть этот смысл. Надо ждать, чтобы прошло время.

И оно потихоньку ползло, длилось, тянулось. И наконец Варя смогла даже выйти на работу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Однажды критик и литературовед Илья Зоревой вычитал в известной газете «Книжное обозрение» следующий анекдот. Дескать, талантливый физик Резерфорд спросил своего ученика: «Что вы делаете сегодня вечером?» — «Работаю», — ответил тот. «А утром?» — спросил учитель. «Работаю», — с простодушной гордостью возвестил ученик. «А когда же вы думаете, милый?» — спросил физик, чем, очевидно, поверг своего желторотого собрата в смущение. Однако заодно Резерфорд, сам того не подозревая и вовсе уж не рассчитывая на столь протяженный во времени эффект, поверг в смущение Илью Зоревского. И теперь тот ввел в свое дневное расписание такую графу: «размышления». Но дабы не слишком «растекаться мыслию по древу», дабы не распустить, современно говоря, «мысленных скакунов» в разные стороны чиста поля, критик отвел времени на размышления — полтора часа.

Обычно он совмещал мыслительный процесс с прогулкой. Вот и сегодня — набросил на плечи новенький ватник, сунул ноги в валенки и отправился в свой заснеженный сад-огород, сползающий к застывшей ныне реке, и стал прогуливаться по протоптанной тропинке — мимо туалета, сараев, к яблоням, там уже вступая в сень нависающего бетонной громадой пешеходного моста.

Февральский день выдался ясным, морозным. Критик с удовольствием расправил плечи, затекшие от его сидения за компьютером. Воздух бодрил и молодил, снег отрадно поскрипывал под валенками, а хозяйский взор удовлетворенно отмечал добротные сараи и утепленные, защищенные от грызунов стволы деревьев. Для начала литературовед решил размяться и попробовал себя в короткой пробежке. Все шло отлично. Мускулистое, худощавое тело его было в приятной, легкой бодрости. «Отличная форма в мои тридцать девять», — мелькнула хвастливая мыслишка и потянула за собой другую, более основательную — предъюбилейный год. Пора подвести некоторые итоги, подумать об организации пусть скромного, но юбилея. Наскоро Зоревой прикинул ответную речь юбиляра и озаботился тем, что надо бы подготовить и размножить библиографию своих работ, чтоб все присутствующие на банкете могли, так сказать, наглядно удостовериться в том, что путь проделан немалый. Да и вообще, критик любил обстоятельность и порядок, хорошо, когда все разложено по полочкам от «а» до «я». Не придется историкам литературы, дабы восстановить картину его деятельности, копаться в неопрятных, разрозненных рукописях.

Тут вплелся в его мысли поэт Данил, скоропостижно скончавшийся месяц назад (все-то на десяток лет старше). Что-то тревожное отразилось в этом блике памяти. Может быть, оттого, что у Данила тоже был предъюбилейный год (насмешка судьбы — не дожил), что оставил он беспорядочный архив и безутешную вдову. «А у меня и вдовы нет!» — тенькнуло где-то в отдалении, но критик отогнал эту мысленную муть — он был еще так крепок, энергичен, ужасно дееспособен и плодовит, в плане, конечно, творческой работы, прекрасно издавался, был обеспечен, и просто недосуг ему было выбрать достойную спутницу. Такая супружеская

жизнь представлялась ему прямо-таки триумфальным, подарочным вариантом, и он пока не решил, кого же можно премировать такой честью.

Критик Зоревой воздел руки горе и шумно выдохнул, прочищая легкие. Мужик, идущий по мосту с березовым веником под мышкой (неподалеку, под горой притулилась баня), хмуро усмехнулся.

Ах, недостойно все это было графы «размышления» и отведенных под это дело полутора часов. Все эти детали — и мужик, и сараи, и поэт Данил со своим архивом и своей, надо отдать ей должное, еще довольно привлекательной вдовой. Заложив руки за спину, критик двинулся по тропе. Солнышко докучливо пекло в спину, но он сосредоточился на составлении библиографии.

Несколько было у критика значительных публикаций в крупных литературно-художественных и специализированных журналах, имелись диссертация и книга, изданная в местном издательстве в развитие темы диссертации, было множество мелких заметок-блошек в периодике, рецензий и реплик. Книга его, объемом в двести страниц, посвящена была творчеству третьестепенного русского поэта прошлого века, осенившего своим присутствием усадьбу в пригороде бывшего губернского центра. Впрочем, Зоревой обижался, когда к его герою относилась с пренебрежением, без обиняков указывая на место оного в третьем или даже пятом поэтическом ряду. Однако поскольку третьестепенный поэт был более или менее близкий земляк Пушкина (по Болдину), и однажды они даже снесли записками по поводу каких-то лесных угодий, то литературовед вправе был утверждать, что Александр Сергеевич в качестве солнца русской поэзии осветил, так сказать, своим рукописным лучом третьестепенного современника (автора эпиграмм, застольных виршей и неудобочитаемой поэмы), признал его существование пусть не в литературном, но по крайней мере — в пространственном смысле.

Уцепившись за эту ниточку, Илья Зоревой пошел дальше и вытащил свидетельства прочих литдеятелей той поры о своем герое. По всему выходило, что литературная Россия сознавала в своем творческом лоне того, кому посвятил писания литературовед. Затем — больше: обнаружилось переключки в творчестве, отыскались внутренние цитаты. Герой и сам был довольно активен и имел нескольких известных адресатов. На основании всех этих скопившихся материалов сложилась книжка, по-своему вписавшая их провинциальный город в общий литературный покров.

Зачем-то вспомнилось сейчас критику, как насмешливо отнесся Данил к такому почитанию третьестепенного поэта. Отчего-то теперь, когда Данил умер, критик относился к нему лучше, почти хорошо, признавая умелое владение стихотворной речью — близко к уровню любимого героя прошлого века. Может быть, оттого, что Данил уже ничего не мог возразить, был неопасен. Возникшая мысль ужасно раздражила Зоревго-Федюшкина, ведь никто не назвал бы ее благородной.

«Пожалуй, полтора часа — это слишком много», — думал он, энергично шагая по тропе и как бы столь же энергично вправляя непослушные мысли в нужное русло. В год сорокалетия необходимо было нечто не менее значительное, чем работа по прошлому веку, хотелось бы из сегодняшнего дня. Но иметь дело с современниками — никаких нервов не хватит, иные уже разобраны и на хвосте их творчества кормятся целые шайки литературных пасынков, другие же тотчас зачванятся и примут производственный интерес к себе критика за признание подлинности их заслуг перед отечественной словесностью, прочие были откровенно серыми

или же скомпрометировали себя восхвалением власть имущих. Выбирать просто не из чего! И тут звякнуло в мозгу: «Данил!» Находочка! Да что там говорить — молодец, Резерфорд!

Бабка, идущая по мосту с красным пластмассовым тазиком в руке, ахнула и споткнулась.

— Аккуратней, мать! Берегись!

— Ты вскрикнул, сынок. Прямо как дух на тебя сошел.

— Ступай осторожно, мать, — Зоревой любил побеседовать вот так — душевно, простонародно.

— Живешь тут, сынок? Кем работаешь-то?

— И живу, мать, и работаю. В библейской простоте. Сотворяю, мать, поэтические репутации. Иногда на пустом месте.

Критик оправил ватник и устремился к дому, намеченное для размышлений время истекало.

Бабка, повязанная пуховой шалью, еще пару минут одобрительно глядела на справный дом, затем потащилась дальше по обледенелой дорожке. Библия и сотворение поэтов намертво сцепились в ее старческой голове и крутились там. Наконец вынырнула нужная фраза, и бабка обрадовалась:

— Не сотвори себе кумира, сынок!

Но критик Зоревой в душевном запале не услышал ее и махнул с крыльца:

— Легкого пара, мать!

Через две минуты он уже сидел за письменным столом. Мерцал, готовый к услугам, экран компьютера. Зоревой отыскал адреса сокурсников Данила, прикинул, с кем из маститых и влиятельных стоит связаться.

— А можно еще литературную премию организовать. Выйти в администрацию с предложением, — лихорадочно шептал он.

Проект обрастал подробностями, и ему представился Данил (отлитый в бронзе и молчащий — слава Богу!), вознесенный на пьедестал, и рядом — он, критик и литературовед с вечным пером в руках и готовой фундаментальной работой о творчестве знаменитого, но при жизни нецененного поэта. В конце концов, сейчас век активных людей и творческое поле надо создавать себе самому.

«А Данил мне на том свете в ножки поклонится», — пробормотал критик.

Но пока ему, Илье Зоревому, слишком много дел предстояло на этом свете, чтобы отвлекаться на посторонние размышления о посмертии.

* * *

Возвращаясь со службы, Варя увидела в окне комнаты слабый свет. Видимо, горел забытый ночник. Но она отлично помнила, как утром щелкнула выключателем. Горячая волна ударила в голову, ослабели ноги. «Данил», — подумалось просто и отрешенно. И хотя Варя постоянно ощущала его присутствие, какой-то сладкий ужас захватил ее при мысли о том, что он шагнул через смертный порог и оставил по себе материальное свидетельство. Ни секунды не сомневалась она, что он с ней, и все же теперь, когда предстояло стать лицом к лицу... Он там, в квартире, и не бесплотный дух, и не воскресшая плоть... Так кто же? Кто?

Озноб побежал по спине, или холод забрался в тонкие сапоги, ведь зима все еще накидывает на город метельную пелену. Вот и Андрюша вышел на вечерний променад с лопатой, взметывает снежную пыль, рас-

чищая талосу. Варя встала, чтобы позвать его. Нет, Данил, не по силам мне очная ставка... Если бы знать, что это — ты... Она собиралась окликнуть Андрюшу и взглянула на свои окна украдкой, опасаясь, как бы не увидеть лишнего. Не приведи Бог, качнется занавеска или того ужасней — мелькнет бледный овал лица.

Тут Варя охнула и уже смело поглядела вверх: окна ее квартиры (вот — три подряд), не потревоженные человеческим присутствием, девственно темнели, и тускло светилась рядом соседская спальня.

«Господи, я знаю — за эти минуты мне спешится немало грехов», — Варя подхватила сумку и вошла в ободранный подъезд. «Вот так, Данил, я испугалась тебя». Ей стало стыдно, и пока она переодевалась и варила гречневую кашу на ужин, она все убеждала его мысленно: «Не так сразу, Данил, не так сразу». И постепенно успокоившись, привычно поведала ему о том, как провела день, и даже живописала, оживившись, курьезный случай в автобусе. Попалась бабка-попутчица, бодрячка и охальница, веселившая народ нецензурными репликами. На остановке, возле МВД, вошли серьезного вида ребята, наверно, сменившиеся менты. И когда бабка особенно разошлась, один из них сказал:

— Пьешь ты, мать, не по возрасту.

— Верблюд, сынок, и тот пьет, — бабка лукаво подмигнула хмельным своим глазом и разразилась огневой тирадой по поводу властей предержавших. Свежеиспеченный «сынок» достал из-за пазухи блокнотик:

— А как твоя фамилия, мать?

— Ельцина, сынок, — скукоживши личико в скорбную гримасу, сообщила бабка, потешая автобус, — я сестра его. В народ засланная.

Варя сделала паузу — тут бы они с Данилом посмеялись. Странно, но то, что его не было дома перед смертью целую неделю, облегчило для нее расставание. Она чуть-чуть привыкла жить без него, в его отсутствие есть, ложиться одной, готовить для себя еду. Вся их близость осталась в общем-то с ней — а сама смерть и сопутствующая ей похоронно-поминочная суета прикрылась милосердным, непроницаемым покровом. Она помнила, конечно, что Данил умер, но скорее абстрактно, словно речь шла о постороннем человеке, а рядом, тут, в быту, он был жив. Иногда вспыхивала невыносимая деталь: синий ноготь, — исторгая крик и судорогу души, занималось дыхание, но Варя волевым усилием смыкала метафизическую щелочку: «Сгинь!», и та нехотя исчезала, оставляя на ткани жизни очередной, упреждающий рубец: «Не приближайся!»

Варя сама не могла понять, чего же так безумно испугалась, увидев свет в окне. А может быть, у последнего предела чувства настолько сильны, что радость нельзя отделить от ужаса, и они сливаются в одну высокую, режущую ноту, а она — слабая духом — не распознала.

Погасив свет, Варя встала у ночного окна. Больше месяца ты, Данил, не смотришь сквозь это стекло на эту ледяную пустошь, ограниченную бетонными коробками. Она проследила взглядом за поздним путником, который торопился домой напрямик, срезая угол. Незнакомый человек шел, сопротивляясь ветру, и полы его пальто бились вокруг ног и мешали идти, а тень его, поджавшись, скользила следом. И это бывает, когда ты вдруг изо всех сил посочувствуешь другому человеку и пожелаешь взять на себя его тяжесть, его одиночество посреди почти загробного, ледяного пространства (о, Данил, где ты?), но это невозможно, потому что каждый идет своим путем, и твой собственный путь отнюдь не легче. Варя подняла руку и перекрестила незнакомого пешехода. Потом во двор въе-

хала машина, разрезав фарами ночь. Хлопнули дверцы, донеслась музыка, разрушая настроение, сквозь закрытые стекла ворвались по-хамски громкие голоса. Это было уже скучно и к ее жизни не имело отношения. Она опустила шторы и отошла от окна.

Внезапно ее потревожили связавшиеся воедино несколько слов: «ночной, внезапный снегопад — как бы души моей крушение и окончательный распад», но Варя не стала углубляться в стихотворение, почему-то почувствовалось оно как кощунство по отношению к Данилу. Ведь он уже не может писать! До чего странно — он уже все сказал! А строки-то не ее, не той, прежней Вари, никогда не надвигалась на ее стихи эта гибельная тень. Что и говорить... Никогда не хоронила она самого близкого человека.

И все же сегодня был значительный день, и что-то сдвинулось в ее жизни, готовое разрешиться. Дух запредельный подступил к ней близко, опалил — и след остался в ней. Свет в окошке (не важно — в своем или чужом) вспыхнул для нее, и путник упорно преодолевал ветер и снег, и прозвучали строки. Данил посылал ей весть, и она, внутренне трепеща, отзывалась ей.

Она легла, и в какой-то чудесный миг очертания шкафа, стола и дверного проема начали плавиться и поплыли прочь, словно камни, влекомые потоком. Подступило забвение, и слабо-слабо закачалась лодочка — ни там, ни здесь. И вдруг все потухло, будто самолично дунул на пламя сон — брат смерти.

* * *

Варя проснулась перед рассветом и, окунувшись в зыбкую реальность, забылась снова и получила подарок: она увидела Данила. Он стоял совсем живой, невредимый и глядел на нее с мольбой и любовью, ведь Варя тоже была в этом сне и наблюдала себя со стороны. Но обняться и приблизиться им не было дано, да и не в этом заключался смысл сна (если это, конечно, был сон). Краем сознания зацепился и сопутствующий антураж: береза и ель. Елку эту Варя помнила, но почему они оба стояли в том, чужом саду, понять было невозможно, да и недосуг. Потому что Данил умирал снова. Как-то иначе, явно и окончательно, истекая вместе с душой, даром, духом. Варя увидела кристалл и сразу узнала его в дивном, но не спящем сиянии. Данил пытался удержать сияющий многогранник, но руки («будто из воды, Варя») проскальзывали *сквозь*, и такие мука и отчаяние отпечатались на его лице, что Варя пожелала умереть вместо него (но это было невозможно, она уже знала это... Добрел ли к родному очагу путник в ледяной пустыне?..). Она протянула руки, пытаясь подхватить, удержать хрустальный сияющий кристалл, но он упал наземь. Тотчас в снегу образовалась парящая проплешина, снег отступил, обнажив землю, а кристалл моментально растаял: маленький комочек, потерявший грани, еще тлел посреди чистой, прозрачной лужицы, отражающей синеву неба.

Окончательно проснувшись, Варя долго лежала, понимая, что начала непонятное странствие среди снов и предчувствий, что прежняя простота покинула ее навеки, что радость канула, и теперь она разучилась просто жить, она будет безуспешно разгадывать жизнь. И некому ей подсказать, и некому обнять ее, согревая теплом, заслоняя от бездны.

— Господи, за что ты отнял его? — прошептала она. — Зачем он умер? Умер навсегда и непоправимо...

— Друзья мои, позвольте мне рассказать вам одну байку...

Февральское, почти весеннее солнце било в высокие окна. Блики, играя, скользили по наполненным бокалам и хрустальным вазам с изобильными горами салатов. Стол был великолепен. И присутствующие, сидящие вокруг, соответствовали. Имелся представитель губернской администрации и кто-то из отдела культуры мэрии, почтил честью и директор местного книжного издательства, филологи из университета, критик и литературовед Илья Зоревой (как-никак, а доктор наук), молодая поросль — в виде учеников и учениц покойного Данила, разумеется, вдова и сам гвоздь, так сказать, программы, апофеоз скорбного торжества (ибо это справляли официальные поминки почившему в Бозе сорок дней назад), московский гость — Иван Обрубин, приглашенный литературоведом и столь великодушно приехавший в глухой, заснеженный городок почтить память умершего друга. Потому что Иван и Данил были сокурсниками. Иван, обладавший барской, тургеневской внешностью (та же стать и гордый взгляд с поволокой, художественно волнистые волосы и вся повадка имеющего достаток и досуг человека), был страстным волокитой, учился из рук вон, более полагаясь на свой природный поэтический размах, и женился рано, на дочери генерала КГБ. С молодой женой он поселился в прекрасной квартире, и литературная карьера его пошла в гору. Ныне, в год пятидесятилетия, от былой славы Ивана остался пшик, от густой шевелюры — лысина, отороченная жидкими, редющими прядями, от былого молодечества — редкие загулы и крошечные (на один вечер) романчики со студентками Литинститута, где Иван вел семинар. Осталась жена, прекрасно обеспеченная и оказавшаяся тоже в своем роде талантом (она занималась квартирным бизнесом), а в наследство от папыганста достался Ивану телохранитель (этот был, кажется, седьмой по счету). Подоплека имела следующий вид: жена, обеспокоенная постоянными увлечениями мужа, старалась с помощью любящего отца контролировать каждый шаг Ивана, дабы, если что — пресечь.

Десять — пятнадцать лет назад Иван любил в компаниях со скорбным лицом рассуждать о притеснениях со стороны режима, и в первые годы перестройки былая слава занялась вокруг него, как вокруг пострадавшего и потерпевшего. Но в эпоху тотальной демократии сопровождающий Ивана отменен не был (теперь, вероятно, всего, его услуги оплачивала жена), а ходил чуть не под руку с поэтом, не скрываясь, и скорее вызывал зависть (ибо кому же помешает охрана в наше-то смутное время?), чем сочувствие. Сам Иван с некоторой заминкой представлял своего спутника как ученика, начинающего литератора или — на худой конец — мемуариста, запечатляющего похождения живого классика. Обычно «ученик» с каменной мордой в ответ ни на что не перечил.

Накануне приглашения на поминки Иван серьезно повздорил с супругой. Только-только Иван распушил перья перед русоволосой красавицей из своего семинара и даже сочинил пять стихотворений под общим заглавием «Тебе, Любовь» (девочку, кстати, звали Любовй), как жена сурово отчитала его и пригрозила лишить денежного довольствия. В знак протеста он напился пьян, разбил вдребезги мини-типографию, подаренную на именины женой, выволок во двор весь тираж свежееотпечатанной книги и устроил аутодафе. Он долго, безуспешно жег книгу (но в февральской слякоти бумага не желала гореть), пока не догадался спросить бензина у автолюбителей на стоянке. У полыхающего костра он потрясал кулаками и грозил узурпаторам, наступившим на горло «соловиной песне». За спиной, не

вмешиваясь, маячил Игорь — нынешний блюститель Ивановой нравственности — и, более того, даже подгрребал к огню разлетавшиеся обугленные страницы. И может быть, это и стало последней каплей в чаше разочарований. «Миру не нужна поэзия», — причитал Иван, и в этот момент на третьем этаже распахнулось окно, и жена закричала ему:

— Тебе звонят из провинции.

Ссутулив плечи, он вошел в подъезд и, услышав о смерти сокурсника и друга юности, был по-настоящему потрясен, и даже как-то устыжен, потому что смерть Данила была правдой, а весь этот пьяный скандал и костер, пожаривший его книгу, отдавали театром. Может быть, в другое время его и не понесло бы на эти поминки, но секунда выдалась подходящая, и Иван отослал Игоря за билетами.

— Итак, эпизод, друзья мои. Сидим мы с Данилом на скамье у общежития, там бульвар такой неподалеку. И видим: идет по аллее Рубцов с приятелем...

Варя, как вдова сидевшая в центре рядом с членом правительства, вздрогнула и насторожилась: попробуй, расскажи постороннему, как жизнь расставляет акценты и делает тебе намеки, обвинят в суеверии и тенденциозном подборе фактов.

— Рубцов подошел прямо к нам и говорит: «Русская, — говорит, — поэзия пребывает в надежных руках. А вы, — говорит, — ребята, наследники традиций и мои непосредственные продолжатели. Ты — Данил, и ты — Иван». Или он сказал: «Ты — Иван, и ты — Данил».

Оратор на миг задумался, понутив классическую голову, но тут же воспрянул, как бы озаренный воспоминанием:

— Пожалуй, да, это будет вернее. «Ты — Иван, и ты — Данил», потому что у нас ведь два лидера на курсе было. Данил — да, разумеется, но второй, извините, я!.. Я и печатался к тому же больше.

Варя подумала о том, что Иван мало изменился со студенческих лет (она училась на том же курсе, просто была намного моложе их обоих), и ей было это приятно, вроде возвращения в юность. И потом, кто знает, может быть, Данил витает где-то здесь и наслаждается происходящим, тем паче, что сам своей смертью послужил причиной этому действию, организовавшемуся словно по мановению волшебной палочки или inferнальных сил, спонсировавших роскошные поминки и пригласивших сюда весь местный бомонд.

Между тем было выпито в гробовом, скорбном молчании и налито вновь. Бывший комсомолец, вдохновленный рассказом столичного витии, уже мысленно стряпал эпическое стихотворное повествование, название которому будет: «Рубцов и потомки», и до того возбудился и возгорелся внутренне, что и наружно это непроизвольно проявилось. Тик усилился, он передергивал плечами и подмигивал, не сводя затуманенных восторгом очей с Обрубина. Тот, заметив странные знаки, в начале сильно удивился, а потом рассвирепел. Дело в том, что Иван, обладатель мужественной внешности и широкой, как бы под вечным хмельком, души, пользовался навязчивой симпатией голубых, которых в свою очередь яростно ненавидел. Вот и сейчас он проговорил свирепым, внятным шепотом:

— Я этих нетрадиционных... на столбах бы вешал, — и ткнул в бок соглядатая.

Игорь, поперхнувшись семгой, зло покосился на комсомольца и, играя желваками, постарался изобразить угрозу. На лице невинного литератора, павшего жертвой нехоти разгулявшегося вдохновения, отразилось изумление, и он совершенно ступеялся и попытался спрятаться за

соседа-критика. Вся эта мини-сцена, разыгравшаяся в течение минуты, не совсем была понятна присутствующим и целиком в позднейших обсуждениях отнесена на счет оригинальности столичного гостя.

Соблюдая чинный порядок застолья, поднялся представитель администрации, красный, толстый, одышливый человек, нелегкой обязанностью которого было заседать на всевозможных презентациях, форумах, конференциях, симпозиумах, встречах и даже вот — на поминках довелось; говорить гладкие речи: что, дескать, администрация в курсе и бдит, и всей душой с вами, и в моем лице присутствует, всячески поощряет данный почин или наоборот — завершение работы, а дальше приходилось пить, по меньшей мере две-три рюмки, отдуваясь за все чиновничество. Этот навеки объевшийся и обпившийся человек и фамилию носил страдальческую — Мыкин. Однако только присутствие Мыкина на мероприятии придавало тому должный уровень и статус.

Вставши с рюмкой коньяку, Мыкин произнес соответственную речь, в которой довольно было гражданской скорби по поводу преждевременной гибели поэта, кстати цитировался Волошин — «темен жребий русского поэта» (речь сочинял консультант Союза писателей, присутствовавший тут же и удовлетворенно кричавший в эффектных местах), и к концу подпущена была весенняя водица лирической, просветляющей надежды на (столь по-разному трактуемое и понимаемое) духовное возрождение России, немислимое без поэтической лепты Данила.

Ахнули коньяк. Налили еще. Выпивки было в избытке, и разговор пошел оживленнее. Выступил работник мэрии, постаравшийся перецементировать Мыкина в сравнениях и цитатах, и образ умершего поэта забронзовел. Варя слушала. По мере того как докладчики возносились в эмпирию, она падала все ниже и ниже в мутной душевной тоске. Данил, о котором они говорили, не был тем живым и слабым, да — именно слабым человеком, которого она знала все совместные годы. И почему-то все эти люди имели наглость претендовать на него, как будто им могла принадлежать хотя бы частица его существа. Варя хотелось встать и крикнуть: «Мое! Не прикасайтесь!» И в какой-то миг она осознала, что он — отлетел и больше не с ней, и здесь — среди них — его точно нет. Она едва сдержала слезы, но вспомнила, что негоже обижать устроителей, все было сделано по высшему классу (мог ли ты предполагать, Данил? По высшему классу!), и коньяк был замечательный, пять звездочек, настоящий армянский, и, может быть, ей станет легче теперь, когда он отлетел. Распустится удавка на шее, а все эти люди так искренне желают помочь. Она тихонько всхлипнула над рюмкой, и благодарные слезы выступили на глазах.

Атмосфера разогрелась. Все уже любили всех. Иван то сидел утесом, сдвинув брови, символизируя категорическое «нет» голубым проискам, то любезничал с поэтессами. Ирина рассказывала свой сон:

— Он явился ночью. В духе, конечно. Весь такой... В ореоле... И повел меня на прекрасный луг, где сплошь цветы. А цветы — это его стихи, и это его запредельный мир. А я стою на краю луга и ступить боюсь, чтоб цветы не помять. Тогда он цветок сорвал и мне подает, — красивая искусствоведша победно оглядела слушателей.

Варя, готовая секунду назад любить все человечество, могла положить голову под топор в том, что Ирина сон этот выдумала, и все это литературные трюки, претензия на место любимой ученицы. Потому что Данил не смеет ни к кому приходиться во сне! «Слышишь, Данил, не смей». Но Варя лукавила сама перед собой — не слышал он ее и не мог слышать.

— Дочка, — восхитился Иван поэтессой, — вы сами цветок. Выходите за меня замуж.

Игорь — охранник нравственности — вскинулся, а Иван очнулся: батюшки, он и забыл, что женат. Да, хорош коньячок. Или это юность вернулась? Что за магия такая? Понимаю Данила — сидел тут в цветнике, творил... и умер, — завершилась мысль. Иван досадливо покосился на диктофончик между тарелками, красная кнопка горит — пищет. Официально считалось — фиксирует драгоценные речи для мемуаров, а попросту — компромат для жены. «Подумай, ни одно твое слово не пропадет для истории», — убеждала она поэта с нажимом (твердость, очевидно, была унаследована ею от папы-гэбиста). И чего он потащился в эту глушь? Но волны почтения, обожания и неги так ласково качали его, девочки-поэтессы глядели так нежно...

— Нет, нигде так не любят поэзию, как в провинции. Выпьем же за поэзию!

В этот самый момент критик и литературовед Илья Зоревой, вожделенно поглядывающий на диктофончик у прибора столичного гостя («Ах, материалы! Их бы в умелые руки!») и напряженно следивший за ходом застолья, решил: «Пора!»

Он встал и начал:

— Мы видим здесь прекрасный сад, возвращенный поэтом, это его ученики и его друзья, те, кого согрела его душа. И нам в ответ нельзя посрамить лица своего. Давайте же утвердим память о поэте не только, так сказать, в духовном, но и в материальном плане. Предлагаю учредить литературную премию его имени.

Присутствующие оживились. Иван Обрубин на мгновение пожалел о том, что не он почил сорок дней назад («Да, жизнь в провинции имеет свои плюсы. Кто там, в Москве, почешется, когда я окочурюсь? В лучшем случае — некролог в четверть газетной полосы»). Среди молодой поросли тоже началось шевеление, начинающие пииты мысленно примеряли лавровые венки. Словом, идея вызвала одобрение. Только Мыкин смутился, будучи не уполномочен по поводу премии от администрации.

Критик между тем продолжал:

— Премию для авторитетности необходимо сделать не местной, а региональной, сплотить вокруг имени поэта лучшие литературные силы. В дальнейшем можно было бы замахнуться на Россию. Думаю, даже спонсоры под такое дело найдутся.

Мыкину не оставалось ничего другого, как положительно кивнуть, выражая принципиальное согласие. В конце концов, не раздражать же интеллигенцию.

За премию осушили еще по рюмке. И директор издательства (перед ним лебезили и заискивали все пишущие, так как хотя издательство прогорало, все же было единственным в области) предложил собрать посмертный сборник поэта, «Избранное» — итог жизненного и творческого пути.

— Я мог бы составить, — дернулся (слишком поспешно, он уж укорял себя потом за это) литературовед и критик Илья Зоревой. Не надо было так явно дергаться, потому что вдова встрепенулась и сказала с непонятной жесткостью:

— Нет! Я составлю сама... — А Варя просто не могла допустить, чтоб кто-то посторонний рылся в чемодане с рукописями.

«А может, жениться?» — критик оценивающе поглядел на вдову. Конечно, не розанчик, но еще вполне женственна: и эти ямочки на щеках, и круглые плечи... Увлечшись, он даже причмокнул губами и решил

эту идею обмозговать подробнее, обкатать и изучить во всех ракурсах. Поэт, бывший муж, будет вознесен, тропиночка в историю протоптана, изучай прямо на дому архив и зарабатывай посмертное увековечение.

— А я могла бы дать для сборника свою графику, — сообщила «шляхетная паненка». — Я уже задумала символическое изображение рыцаря со сломанным мечом.

«Однако я не один», — отметил Зоревой. Но Варя отрицательно махнула рукой:

— Есть его портрет, всего за несколько дней до смерти. Вы помните, конечно, художника. Гарик Уездин.

На этом и завершилась официальная часть. Высокие правительственные лица отбыли, возлияния продолжились, и в какой-то горячий момент на волне единодушия решено было махнуть к Уездину, вытребовать портрет и тем самым начать осуществление памятных мероприятий.

Когда их хмельная, одержимая гурьба свернула на окраинную улочку, Обрубин так и ахнул. Он вообще был как-то на слезе, растроган — коньячок прожег до доньшка.

— Глядите-ка, дома просто смеются!

И впрямь на всех фасадах — по три окошка, — символ столь любимый нами, русскими, и не замечаемый в обыденности. Три окна — свидетельство и присяга Святой Троице. Выдаются такие острые миги — глянешь, и предстает мир как заново, и ты перед ним, готовый упасть на колени в обновлении чувств.

— Матушка-Россия! — сказал Обрубин и утер платком глаза.

Разом притихшие, они двинулись дальше: Варя, охранник Игорь (как нитка за иголкой — след в след Ивану), критик Зоревой, из молодых — огородник, «китайнка» с «паненкой», Ирина; сзади, скрываясь от гневливого Ивана, плелся комсомолец, и в виде свиты — кто-то из вовсе безымянных. Февральский мороз, не шутя, щипал носы и щеки. Сумерки уже добавили воздуху и снегу густой синевы и зажгли на краю небес одинокую звездочку.

Уездин, хмурый, видно, с похмелья (куда девалась размашистая обаятельность?), встретил их на крыльце избушки. Писательская делегация чем-то сразу не понравилась ему. Цепким взглядом выхватил из толпы Обрубина и удостоил беседы только его.

— Нет никакого портрета и не было. Так, набросочек. Не успели, да и времени впереди думали больше.

Варя стояла, не в силах бороться с возвратом прошлого: Данил у ели (ах, хороша елочка в снегу!) и бессмысленно жаркий спор о форме и сути, и ее уже тогда — горькое, безысходное отчуждение от него.

— А он уже нездешний был, — прошептала она вдруг и поперхнулась от уничтожающего взгляда художника. За что? Но, без сомнения, Уездин устался на нее, вдову, как на последнюю вошь.

— А и будь портрет — не дал бы. Не было на то его воли — портретами разбрасываться, — и ушел в дом, хлопнув дверью.

«Боже мой! Что я делаю здесь?» Все потянулось в калитку, пристыженные отчего-то, точно побитые сывки. «Зачем я-то пошла? Зачем участвую в этом?» И все ее ночные беседы с Данилом, и комната в лунном сиянии, и фонарь под окном, и ледяная пустыня — все это вдруг показалось ей счастьем, которое она имела (ибо чувство — он здесь, за плечами — не покидало ее прежде). А теперь все это рухнуло и стало недостижимо, кануло в бездну, и она сама, сама разрушила это.

День завершился. Литераторы очутились на вокзале. Что-то еще в

складчину покупали в коммерческом киоске и пили тут же, глотая вместе с алкоголем мороз. И Иван вовсе, напрочь окосел. Когда подали московский поезд, он обнимался с Варей, плача над ушедшей юностью, долго целовался с Ириной и прочими подвернувшимися участниками торжества. И вот тут Игорь оказался незаменим и буквально внес разгулявшегося служителя муз в вагон. Но Обрубин вырвался и, выпав со ступеней на перрон, кинулся к жавшемуся в стороне комсомольцу и стиснул того в объятиях.

— Прощаю, — заревел Иван, — раз уж ты пришибленный. Но смотри — лишнего не шали! — и, отчески пожурив и погрозив пальцем, покинул изрядно помятую жертву и наконец исчез в вагоне.

Минут пять до отправления они взаимно махали друг другу, посылая воздушные поцелуи.

— Тургенев, вылитый Тургенев, — бормотала Ирина у Вари над ухом.

Поезд тронулся. Они побежали, пытаясь удержать, настичь мгновение. Колеса крутились все быстрее. Барственный силуэт Обрубина качнулся, и окна слились в бесконечный ряд. Поезд понесся — так уходит время и уходит жизнь. Мигнул напоследок хвостовой огонь, а они остались здесь — перемогать, переживать настоящее.

Оказавшись, наконец, в одиночестве, в своей квартире, Варя пыталась и никак не могла соединить и осмыслить весь этот никчемный бред: приезд Обрубина, поминки, премия, елка в снегу... Она поежилась, припоминая уничтожающий взгляд Уездина. И перечеркивая сегодняшний день, да и все Варино бытие целиком, зазвучала простая мыслишка: «Все кончено! Все потеряно!»

* * *

Чемодан был набит битком. С трудом вытащив его из-под кровати, Варя отпахнула крышку, и рукописи в невообразимом беспорядке предстали ей. Волнение охватило ее, когда она взяла один листок с машинным уже текстом. Стихи были «белые», похожие на прозу:

Сквозь пустошь ледяную странник
едва влачится — ветер треплет полы
и пригоршни в лицо швыряет снега,
а он идет в ночь темную, как прорубь,
я крест кладу: благослови нас, Боже,
упрямых путников на ниве ледяной.
Дай не упасть, дойти и оглянуться...
Но в смертный час все длится испытанье,
и каждый шаг с таким трудом дается.

Варя окаменела. Выходит, он и вправду был здесь, в комнате, залитой вечерними сумерками, витал за плечом, глядя вместе с ней, как преодолевает пространство запоздалый пешеход. Он *видел*, как Варя переkreстила согнутую спину упрямца. «Господи, не превращай мою жизнь в мистику, не надо! Я утону в ней!» Тут же ей кинулась в глаза дата: 25 февраля, но *прошлого* года. Она вздохнула с облегчением, но понять — хороши ли эти стихи — так и не сумела. Слова обжигали ее. Как же ей было взглянуть на них отрешенно, словно посторонней?..

Кипы старых блокнотов и юношеских тетрадей Варя не тронула: то, что Данил хотел выбрать из них, он выбрал сам и многое опубликовал. Теперь она вспомнила, что последние годы он практически ничего не чи-

тал ей нового и при ее появлении даже захлопывал вот эту самую, синюю, в клетку тетрадь. Тогда она вовсе не обижалась и даже, пожалуй, не рада была бы слушать — вздумай он ей читать. Его поэтическая одержимость всегда пугала ее, и — что греха таить — куда проще было иметь дело с нормальным, социально адекватным экземпляром, который, как все, работает и получает зарплату. Она гордилась и радовалась, когда литесгудию признали официально и Данилу утвердили ставку и начали платить. Не из-за денег, конечно, а потому, что входил он в обычное, житейское русло.

Варя открыла и перелистала тетрадь: отрывочные строки, вкривь и вкось налезавшие друг на друга, и записи-размышления — вроде дневника и не совсем, потому что вовсе не было здесь хронологической последовательности, а так — отдельные мысли. Например, на одной из страниц было написано крупно — ПУШКИН и цитата: «Мой идеал теперь хозяйка, и щей горшок, и сам большой». Комментарий Данила: «Гений постигает полноту жизни и превращает легкомысленного пиита в хозяина, в “самого”, в ответственное лицо». И рядом — «не могу уловить простоту жизни».

«Юность. Это было первое откровение. Я сидел на скамье, у Шурика продолжалась попойка... Мы пили уже третьи сутки. Темный, глухой, коллективный разврат... В какой-то момент ощутил, что умираю — выполз на воздух. От холода протрезвел и сидел, уставясь в ясное, звездное небо. В глубине возбужденного мозга заворочались слова, удивительно сочетаясь, и этот тонкий мотив зачаровал меня. Я не вернулся к Шурику, всю ночь бродил по городу, пытаюсь извлечь из небытия *нечто*. А вся компания, перепившись, отправилась подламывать дачи. Наткнулись на патруль и дали отпор попыткавшимся задержать их милиционерам, причем одному из служителей порядка крепко досталось. Все друзья юности сели. Так что *нечто*, выходит, извлекло меня, хотя те самые первые слова не были ни магическими, ни прекрасными — ученический лепет о звездах и небесах...»

Варя читала еще, и образ Данила становился вятен: слабый, смятенный, отчаявшийся человек, держащийся за тонкую ниточку, протянутую ему с небес.

У изголовья Ангел мой стоит.
И страшно мне, когда смыкаю очи,
что вот усну, и вдруг он отлетит,
забыв меня, покинув среди ночи.

Стихотворение было длинное и — краткая приписка в конце: «Боюсь смерти». Вообще мысль эта проходила красной нитью, заставляя Варю содрогаться, сочувствуя ему и безмерно жалея теперь, когда жалость не достигала его.

«Постичь жизнь, стремиться от страсти — к чувству, от декаданса — к Пушкину, перевести иррациональный страх в сознательный страх смертного наказания, который есть начальная ступень любви...» Видимо, эти размышления были ему очень дороги, потому что об иррациональном страхе он подчеркнул. Варя не все понимала умом, но постигала иначе — сердцем. Все это имело отношение к ней через Данила, но и через Пушкина тоже, под сенью которого прошли ее детство и юность. Что ж это впрямь за солнце просияло над нашей литературой, утверждая собой жизнь вопреки распаду и душевную целостность вопреки хаосу мелких губительных нюансов?! Она вспомнила своего отца, теперь уже давно покойного, как он закуривает, сидя на крыльце, а она, Варя, школьница, спрашивает его о смерти. Он поднял к ней лицо (кустистые брови низко над глазами), вни-

мательно посмотрел и сказал, эту фразу она хорошо запомнила: «Не мы первые, не мы последние, дочка». Душа ее успокоилась тогда, смирилась, что ли, ощутив себя в непрерывно текущем людском потоке. Так идет жизнь — через смерть. А вот в Даниле смирения не было вовсе.

Прерывистого дыхания не хватает на жизнь,
Вечные точки-тире вместо линий...

Это он верно сказал. Данилу все время нужно было заставлять себя подниматься к дару, делать усилия, чтоб достигнуть высоты, цельности, глотнуть разреженного горного воздуха и спуститься к ней, к Варе. Да, он пытался любить ее открытым сердцем (может быть, вопреки себе), любить жизнь, природу, других людей, но только — превращая в материал. Любил, когда писал. Все — в зависимости от слова. О, этот обоюдоострый меч, этот требовательный дар! Крошечный дар или нет — не важно, он был залогом спасенья. «Имею дар, а нести — нет сил». Вот тут ты, Данил, ошибся. Ибо по свидетельству избранничества даровано было тебе, а милость слабому, погибающему человеку. Надежда на высшее. Слово — ниточка, слово — крючок, вонзенный в живую плоть бытия. Не ты нес дар, Данил, не ты приносил жертву, ты принимал ее. Тебя, утопающего, вынесило на поверхность. Благодаря поэзии ты имел необремененное житейское бытие, скользил над поверхностью, не касаясь многотной грязи. Это ли не спасение?

«Умереть в один день — вот о чем надо было просить», — думала Варя, сидя на полу, на коврик, у распотрошенного чемодана. Ранний зимний вечер уже спустился на землю. «...Ибо кто я, чтобы судить его жизнь?» Ведь в высшей степени безжалостно было то, что открылось ей вдруг (удивительно!) после стольких совместных лет: дар был дан ему по человеческой слабости, чтоб спасти (и так он дается всем!) дар маленький и несамостоятельный (не солнце, а только отблеск), и взаимоотношения Данила с этим даром — дело личное, не терпящее свидетелей и соглядатаев. С ужасом вспомнила она поминки, пьяный шабаш, поход к художнику (его уничтожающий, презрительный взгляд), отъезд Обрубина и бесовестную мистическую болтовню вокруг имени Данила. Все это нужно было кончить, прекратить, дать, наконец, покой его измученной душе. Хватит дергать запредельные ниточки!..

Она захлопнула крышку и сунула чемодан на прежнее место. Вынести на всеобщее обсуждение его метания и страх смерти? «Никогда!» — сказала вслух, встала и подошла к окну. Снова мело. Снежинки стояли плотным конусом в потоке фонарного света, и ни единого человека не было посреди снежной пустыни. Сегодня Варя и про себя узнала нечто новое: она имеет довольно твердости, чтобы жить дальше и чтобы попытаться исправить то, что попустила.

* * *

Зал сиял хрустальными люстрами. На передних креслах поместились почетные гости: спонсоры в дорогих пиджаках. Тут же Мыкин, как бы утверждая своей персоной статус мероприятия. Летали туда-сюда в организационных хлопотах члены комиссии, гомонили возбужденные молодые авторы, передавая друг другу кулуарные слухи.

Варя села с краю, за колонну. В зале было множество знакомых, кивнул критик Илья Зоревой с диктофоном (Век живи — век учишь! Поглядел на столичного «коллегу» и обзавелся). Она, конечно, знала, кто предполага-

ется лауреатом, хотя на обсуждения не ходила, а все же ей сочли нужным сообщить: серьезными претендентами на первенство считались «комсомольский» поэт и огородник Кирия. Но поскольку творения вечного комсомольца выглядели более внушительно, да и спонсоры-банкиры все как один являлись соратниками поэта по прежней райкомовской карьере, вопрос как бы сам собой решился в пользу первого. Кирию решили задвинуть совсем. На второе место прочили Ирину, по поводу третьего спорили «китайка» и «шляхетная паненка». Но все-таки прекрасная полячка шансами обладала большими, была к тому же художницей, то есть одарена вдвойне, имела маму, часы досуга тратившую на хождения по инстанциям и со многими приятельствовавшую. Были, конечно, и другие претенденты, но на первом мероприятии решили отметить и наградить «учеников» Данила.

Все это было пока сокрыто, и члены комиссии во главе с Мыкиным хранили таинственные лица. Телевиденье опутало шнурами зал и включило бьющие в глаза юпитеры. Все началось по сценарию. Приветствия, концертные номера. Варя иногда забывала, зачем она здесь в своем черном платье, и только с любопытством следила, как вручают подарки от спонсоров начинающим, но многообещающим литераторам. Илья Зоровой зачитал приветственную телеграмму от Обрубина, в которой благословлялись пишущие и путано соединялись в одном, благословляющем лице и Державин, и Рубцов. И хотя это Данил сошел «под гробовую сень», благословлял все же Обрубин.

Наконец, настала кульминация вечера. Секретарь комиссии, отыскав Варю (все обратили на нее любезно-сочувственные взоры), препроводил ее в крошечную комнатку, где из ящика стола извлек коробочку. В коробочке лежали специально изготовленные медали (одна — позолоченная и две — серебряные) с выбитым профилем Данила и надписью «лауреат», на длинных голубых шелковых лентах. Она взяла коробочку в руки — ей надлежало вручать медали. Тут зазвонил телефон. Секретарь замешкался, взял трубку, Варя выскользнула в дверь, тенью метнулась по лестнице, в гардеробе накинула пальтецо и нырнула прямо в зимнюю, морозную вечернюю синеву.

* * *

Через десять минут в нетерпеливо гудящем зале появился секретарь комиссии, и критик Илья Зоровой отчего-то взволновался, заерзал на стуле, почуяв недоброе. После переговоров с членами комиссии был объявлен перерыв «по техническим причинам». Над фланирующей толпой, над курилками, окутанными дымом, то там, то тут вспыхивали обрывки горячих, раздраженных фраз. Слухи просочились в народ, как вода сквозь пальцы. Повсюду обсуждалась «бедная, лишившаяся рассудка вдова», выкравшая медали с профилем покойного мужа. Но цель? Цель? Здесь догадки уходили в мистические дебри. Одним словом, получился грандиозный конфуз.

После перерыва все пошло не так, как планировалось. Секретарь огласил имена лауреатов, и представитель администрации вручил им грамоты в сопровождении тощих конвертов. Предполагалось, что выступит Илья Зоровой с пространном докладом о литературной традиции и ее нынешних продолжателях в лице Данила, а новоиспеченные лауреаты почитают стихи. За сценой ждали пианистка и исполнительница романсов со специальной программой, куда вошло и несколько произведений на стихи Данила и лауреатов. Однако все скомкалось. Зоровой с тоской заметил, что его

никто не приглашает на сцену. Первым признаком того, что мероприятие сорвано, стало исчезновение Мыкина, растворились в нетях представители мэрии, уползли телевизионщики вместе со своими шнурами. Спонсоры начали нетерпеливо позвякивать ключами иномарок, дожидавшихся внизу, но вся литературная молодежь, выступив, не сговариваясь, единым рациональным фронтом, льстиво улыбаясь, упростила гостей погодить, и постепенно оставшиеся переместились в банкетный зал — питье и яства, как обычно, послужили последним, неоспоримым аргументом. Захлопали пробки. С тостами выступали поэты и прозаики, и все — о высоком, дабы отвлечь от прозы происшедшего. Через час уже никто не помнил о почетных медалях, дружно поздравляли лауреатов. Правда, «китайка» вступила в спор со своей основной соперницей, отказываясь за нее пить и мотивируя тем, что, дескать, окончательный приговор вынесен без участия вдовы и судьи колебались. Присутствующие, размягченные выпитым, поздравили и ее, причем кто-то из спонсоров вручил, так сказать, именной, лично от себя подарок — паркер с золотым пером.

Воцарилось всеобщее довольство. Разговор шел о литературе, о вдохновении. Спонсоры заметно млели, оторвавшись от цифр и разборок. Наконец, один из них, играя золотой цепью на пузе, внес предложение собираться этим же составом примерно раз в месяц.

— Еще актрис нужно пригласить, — влез другой и пояснил свою мысль: — Тоже люди искусства.

Финансирование спонсоры брали на себя.

— А клуб назовем «Смычка интеллигенции и бизнеса», — вставил комсомольский поэт.

С ним заспорили, находя «смычку» архаикой, и порешили назвать временно: клуб «ИБО» — интеллигентско-бизнесменское общество.

Илья Зоревой, сидя за бокалом шампанского, скучал. Он не пил никогда, а сейчас, схоронив свой грандиозный план, пребывал в тоске. Накрылась шляпой новая книга. И вдруг (счастливые мысли именно так — вдруг — заглядывают в голову) его осенило. А что, если замахнуться на столичный уровень? Иван Обрубин к тому же жив и имеет всяческие связи в издательских кругах. Морщины на лбу Зоревского разгладились, словно ему заглянула в лицо не скромная региональная, а пышная всероссийская известность. Он даже пригубил шампанское. Немного смущало его наличие вблизи Обрубина телохранителя-литературоведа. Однако, если подойти к делу разумно, обо всем можно договориться. Окончательно просияв и в душе благословив сегодняшний провал, Зоревой-Федюшкин распрощался и отбыл, торопясь сесть за компьютер и составить деловое послание Обрубину.

* * *

Немного потоптавшись в темном, вонючем подъезде дома по соседству с Дворцом культуры, Варя решила высунуть нос наружу. Все тихо. Бернее, сквозь стекла Дворца доносятся слабые всплески мелодий (в нижнем этаже началась дискотека), мечутся тени, но никто не гонится за ней.

Медали, засунутые в варежку, жгли ладонь. Как-то все время чувствовалось, что там — лицо Данила. Она нащупала выпуклость глаза, изгиб брови. Ее передернуло... Куда теперь? Решение возникло само собой, и Варя направилась к троллейбусной остановке. Какой-то внутренний хмель бодрил и будоражил ее, по крайней мере на ближайшие полчаса жизнь вновь обрела простую и ясную цель. Очутившись на окраинной улочке, она вспомнила

фразу столичного Ивана: «Дома прямо смеются...» Да, и сейчас, зажегши каждый по три огня, они ласково, приветно усмехались ей. И Варя пошла по улочке, слушая, как скребут лопаты, расчищая снег. «Бог помощь!» — окликают друг друга соседи. И от этого пожелания Варе становилось легче, будто кто-то адресовал и ей: «Бог помощь!» — делай, что должно.

Робко вошла она в калитку. Избенка стояла темная, храня тайну — дома ли хозяин или отсутствует, а на крыльцо уже намело порядочный сугроб.

Вот и скамеечка, вот и елка, стоит нарядная, в белой опушке. Варя извлекла медали и повесила: золотую — ближе к вершине, а две серебряные — по бокам. «Вот тебе, художник, мой ответ на твой презрительный взгляд. Понимай, как хочешь». На секунду присела на скамью.

В метельном мареве холодно сверкали металлические кругляши, слегка трепетали шелковые ленты, и елка стояла, словно генерал. Почему Варя пришла сюда? Может быть, потому, что видела эту елку во сне, и Данила — рядом, и теперь желала, чтобы и медали эти отправились следом, в сон, потому что найти им применение здесь, по эту сторону, она не могла.

Варя поднялась и, не оглядываясь, направилась к выходу. А зимний город, ночной, обновленный, был прекрасен, и прекрасен был снег, летящий косо, и прекрасны ряды фонарей, и окна в домах, и даже одиночество ее в этот миг было прекрасно. И душа вновь по-детски успокоилась и смирилась среди этих абсолютных вещей, дарованных нам ни за что, просто так.

А снег поскрипывал под сапогами, слабо, едва слышно, но все же различимо: «Бог помощь, Варя! Бог помощь!»

* * *

Перепивший Гарик разоткровенничался в малознакомой компании за ресторанным столиком. Его практически никто не слушал, за исключением крашеной блондинки, которая пыталась вникнуть, но ее бестактно пригласили на танец. Гарику это категорически не понравилось, он пытался возражать, и кончилось все легкой потасовкой среди зала, и, наверное, крепко бы досталось юнцу, коли б их не растащили. Блондинка предпочла молодого и охала над ним, а к художнику самолично подошел владелец ресторана, некогда окончивший художественное училище, вручил бутылку коньяка и в сопровождении двух молодых одинакового покроя отправил на серебристой иномарке домой. Гарик ухватил затуманенным алкоголем сознанием, что машина, освещенная синеватым фонарным светом, сливается с метелью и как будто искрится. На заднем сиденье он откупорил коньяк и выпил чуть ли не полбутылки. Сопровождающие от коньяка отказались.

Проехать по заснеженным окраинным улочкам иномарке не удалось. Братаны вручили бесчувственного Гарика подвернувшейся старушке, укутанной по глаза пуховой шалью, дали десятку и велели доставить по адресу, выданному «на-гора» их подопечным в проблеске сознания. Машина, с трудом развернувшись, исчезла в снежных пеленах, а художника ввели в незнакомый дом, заботливо раздели в сенях и представили двум мрачного вида мужикам, один из которых его признал:

— Тутушный маляр. На кой привела?

Другой, уразумев, что посланница-«старушка», оказавшаяся женщиной лет сорока-пяти, с заплывшим, серым лицом, вместо спиртного приволокла потенциального собутыльника, без лишних слов принялся избивать ее. Гарик, услышав крики, немного пришел в себя и инстинктом по-

чуял, что влип не на шутку — компания серьезная и не в настроении, мужики явно уголовники и, возможно, уже замышляют, как ему сподручней устроить встречу с Данилом. «У каждого города обязательно должен быть свой поэт, — вспомнились слова Данила, передававшего чью-то мысль, — и свой музыкант, и свой художник... Иначе город неполноценный».

Женщина, всхлипывая, рассказывала, как художника на иномарке привезли «друзья». Мужики тяжело смотрели на него.

— Как насчет выпить? — нашелся Гарик. — Я схожу...

— Были бы деньги, мы сами найдем.

— Зачем искать? Где моя дубленка?

— В сенях, — пискнула женщина.

Гарик, пошатываясь, встал, отстранил поднявшуюся было хозяйку и принес запрятанный в глубоком кармане коньяк. Бутылка вызвала оживление, на столе появилась немудреная закуска — картошка и соленые огурцы. Налили по стопке. Один из мужиков (руки в наколках) вместо тоста отечески произнес:

— Зря ты вяжешься с молодой шушерой, маляр...

Нет, нельзя городу так скоротечно лишаться и поэта, и художника, — решил Гарик и после стопки выпучил глаза и зажал рот, всем видом демонстрируя, что его начало тошнить. Мужик, тот, что пожурил его, показал глазами на дверь.

Гарик на крыльце спешно напяливал дубленку. Следом вышла женщина. Он приобнял ее и жарко зашептал:

— Пошли со мной!..

Простое желание защитить от побоев это жалкое существо заставило произнести двусмысленно прозвучавшие слова.

— А что если я кричу? — косая ухмылка исказила лицо.

— Пожалуйста, не надо, — взмолился Гарик, протягивая ей оставшиеся деньги и открывая зев опустевшего бумажника.

— Ладно уж, гуляй... — смиловилась хозяйка.

В спину его ударило, словно припечатав, словцо-определение:

— Потаскун.

«Потаскун»! Благодаря этой словесной занозе, впившейся в воспаленный мозг, Гарик и вспомнил, проснувшись на следующее утро в своей постели, недавние приключения.

Вернулся чувство только что миновавшей опасности и отвращения: неужели он по пьяной лавочке приставал к этой ужасной бабе? Бред собачий! Докатился! Впрочем, куда катился, туда и катится... Надо уметь радоваться жизни, жить на полную катушку — не он ли вещал? Миновала ослепительная юность, жадная, настырная молодость, и вот ты идешь на высоте своих лет по краю бездны и не хватает кислорода. Что-то в пути проглядел, стало быть, если даже в себе разобраться не можешь. Что есть жизнь? Слепая игра случайностей, животные инстинкты, вечная борьба за выживание. Искусство — та же самая игра, алкоголь для психики. Кто приспособился, тот выжил, кто быстрее всех сориентировался в обстановке, тот и победил. Мир изменился. В очередной раз рухнули идеалы, но вечная суть-то все та же! Смысл жизни — в выживании. А выживает сильнейший. «Ты ничего не открыл мне нового, Данил. Прощай, хлюпик-поэт, я веду игру сугубо по земным правилам! И не желаю проиграть партию раньше отпущенного мне времени».

Гарика вспомнился один из фильмов Бергмана: там Рыцарь играет со Смертью в шахматы в надежде выиграть жизнь. Бога нет, и искусст-

во — не отблеск Творца, как ты надеялся, Данил, а всего-навсего игра. «Жив Бог, умен, а не заумен», — всплыла в памяти строка циничного, но честного Ходасевича, и Гарику захотелось спрятаться под одеяло: отстаньте. Нет зеркала, в котором отразится его новый облик.

* * *

Ярко синело февральское небо. Гарик скреб лопатой крыльцо, освобождая его от снега. Метель давно кончилась, выровняв сугробы и опустив деревья. По карнизу хрустальными морковинами выстроились сосульки — солнце грело по-весеннему. Художник не сразу заметил три металлических кружка на облепленных снегом лентах среди еловых ветвей. А когда заметил — обомлел. Какие-то медали, похоже — спортивные. Елка — чемпион. Елка — генерал. Но зачем? И чьи это шутки?

Когда на одной из медалей в его теплых пальцах вытаял из ледяной корки знакомый профиль поэта, Гарик, будто ожегшись, отбросил закачавшийся на твердой от мороза ленте серебряный кругляш. Изображение тотчас затянуло льдистой патиной.

С робостью художник отступил из мира, еще минуту назад бывшего похмельно-плоским и вдруг обретшего глубину и снежно-сияющее пространство. Жгучая тайна выжидательно глядела в его потухшие, циничные очи, и Гарик почувствовал настоятельную потребность затворить дверь, оградиться стенами и переждать бурю новых чувств, дабы осмыслить себя в этом совершенно незнакомом ему бытии. Вот так штука! Выполнил-таки уговор Данил, подал знак...

Гарик медленно, боясь обнаружить трусость (спиной чуял упертый в спину взгляд поэта), вошел по ступеням крыльца, нарочито задерживаясь, обмел валенки венником. Потоптался, обернулся, сдернул шапочку и, повинувшись неодолимому порыву, в пояс поклонился, то ли ерничая, то ли благоговей — елке-генеральше, Данилу, тайне мироздания.



Анна Ивановна Смородина (1962–2012). Родилась в городе Черкассы. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Поэт, прозаик, публицист, драматург. Автор трех поэтических сборников, многих книг прозы и публицистики в соавторстве с К.В. Смородиным. Член Союза писателей России.

Константин Владимирович Смородин родился в 1961 году в городе Первоуральске Свердловской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор семи поэтических сборников, многих книг прозы и публицистики в соавторстве с А.И. Смородиной. Создатель и главный редактор молодежного журнала «Странник» (Саранск). Народный писатель республики Мордовия. Член Союза писателей СССР/России с 1989 года. Живет в Саранске.

